

# НАТАЛИЯ ТЕРЕНТЬЕВА



СОЛНЦЕ  
НА АНТРЕСОЛЯХ

# **Наталия Михайловна Терентьева**

## **Солнце на антресолях**

### **Серия «Золотые небеса»**

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=24130980](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24130980)*

*Терентьева, Наталия Михайловна. Солнце на антресолях : [роман]:*

*АСТ; Москва; 2017*

*ISBN 978-5-17-102298-3*

### **Аннотация**

Новый роман мастера психологической прозы Наталии Терентьевой увлекает остроумными коллизиями, стремительным сюжетом, яркими диалогами, неожиданными героями, размышлениями о нашем времени и, главное, добрым, позитивным взглядом на жизнь.

Саша в любовь не верит и задает своим родителям один очень простой вопрос, на который они не в силах ответить. Не могут, не хотят, не знают ответа. Тогда девушка решает разобраться в непростой истории любви своих родителей сама...

# Наталия Терентьева

## Солнце на антресолях

*Все события и персонажи этого романа  
вымышлены, любые совпадения случайны*

*Легче зажечь одну маленькую свечу, чем клясть  
темноту.  
Конфуций*

© Н. Терентьева

© ООО «Издательство АСТ»

\* \* \*

Папа сел напротив меня, поболтал ложкой в чашке чая. Чай был без сахара, поэтому болтал ложкой папа просто так, болтал и слушал звук, который получался. Если мелодично стучать, то похоже на колокола, которые вдруг потеряли свою гулкость и протяжность и звучат на разных нотах, звонко, но коротко и жалко.

Мама попробовала тихо подпеть – она вроде расслышала там какую-то мелодию, но папа иронично взглянул на нее, и мама растерянно замолчала.

Если взять мое лицо, немножко его расплющить в разные стороны, добавить морщин, щетины и загара, то получится

папа. Иногда я смотрю на него и понимаю – вот такой я буду через сорок лет, только женщиной.

– Ну-с, – сказал папа. – Одари отца позитивом.

Я ненавижу, когда мой папа делает вид, что у него хорошее настроение, а оно у него на самом деле паршивое.

Папа подождал, не расскажу ли я ему что-то, отхлебнул несладкого чаю, закинул в рот конфету, потом улыбнулся через силу и протянул мне телефон.

– Смотри, какой зайчик. Ушки, хвостик... Зря ты отказалась с нами поехать в прошлые выходные. Долго мы его гнали... И все-таки... – Папа изо всех сил стукнул кулаком о ладонь. – О-па! Пацаны радовались!

– А Джонни говорит – его мутило потом... – заметила я.

– То есть ты хочешь сказать: Джонька – слабак? – прищурился папа.

– Я хочу сказать, что Джонни стошнило, когда он смотрел, как свежуют зайца. С лапками и хвостиком.

– Я рад, что все мои дети дружат, – в тон мне, сдержанно и благожелательно ответил папа. – И делятся друг с другом своими переживаниями.

Я посмотрела на папу. Он так искренне это говорит...

– Взрослые часто создают из слов свой собственный мир – не такой, какой он в реальности, а такой, каким бы они хотели его видеть, – сказала я папе то, что давно хотела сказать.

– Приятно, что ты пока говоришь о родителях – «взрослые», а не... – папа весело глянул на маму, – «старье». – Он

сам засмеялся. – Продолжай, невероятно интересно, просвети отца.

– Разница между реальным и иллюзорным миром, – терпеливо продолжила я, – проста: закрой глаза и иди. Если препятствие, которое ты видишь – реально, то ты споткнешься, если ты себе его воображал – пройдешь спокойно.

– Каждый видит по-разному, – негромко заметила мама.

– Пусть хотя бы один человек пройдет при мне сквозь стенку, тогда я соглашусь, что могут быть разные точки зрения на то, существует ли в реальности стена или нет.

– Вот какая умница! – Папа откинулся на спинку стула. – Да-а... А почему у меня дети такие? Потому что я сам – умен и хорош собой. И успешный бизнесмен.

– Предприниматель, – поправила я папу.

– Зануда, – пожал плечами папа. – Какая же ты зануда.

– Я – патриотка. Я принципиально стараюсь употреблять русские слова, если они есть.

– Ок! – весело сказал папа.

– Ладно, – поправила я его.

– Бизнес!

– Дело.

– М-м-м... Толерантность!

– Терпимость.

– Да ну тебя! – отмахнулся папа. – Не в ту сторону идешь! Она у тебя не в ту сторону идет, – повернулся он к маме, которая тихо сидела и внимательно слушала нашу дружескую

перепалку, не вступая в спор. – Новый филиал открываем, в Иркутске. – Папа потянулся... – Да... Хотели слетать на пару дней на Гоа, полежать, бока погреть, да не выйдет... Все хотят быть здоровыми, всем нужны мои товары...

– Ты молодец, Сережа, – сказала мама.

– Я – да, – ответил папа.

– Я недавно заполняла в школе анкету, пап, не знала, что написать, кто ты. Ты всегда шутишь, толком не говоришь. Написала – оптовик.

– Сашенька!.. – ахнула мама.

– Чтобы ты знала, дочь, – папа сложил руки на груди, – пока ты росла и училась хамить родителям, твой папа в поте лица трудился и создал огромную фирму, она продает предметы для здоровья... – Папа начал неторопливо перечислять: – Тонометры, спринцовки, энергетические коврики, лампы, от которых в комнате, где никогда не открываются окна, легче дышать... Я работаю ради людей и поэтому хорошо живу. Ясно? И потом, разве ты этого не знала?

– Сашенька... – Мама видела, что я хочу что-то ответить папе, и взглядом остановила меня.

– Хочешь анекдот? – Папа спрашивал как будто меня, но краем глаза следил за мамой, которая встала, чтобы налить кофе. Выпив пустого чаю, папа попросил пустого кофе. Вероятно, вечером идет куда-то в гости или на банкет, поэтому весь день до этого голодает.

– Сколько тебе сахара? Три ложки? – Мама попыталась

пошутить – папа не пьет сладкий кофе вообще, но папа только раздраженно вздернул брови. – Ладно, ладно! – Мама примирительно улыбнулась. – Я помню, ты же никогда...

Папа покривился. Он не выносит никаких напоминаний о том, что когда-то они с мамой жили вместе. Или не жили – встречались... Ведь я-то родилась... Почему не выносит – я интуитивно чувствую, но слов для этого пока найти не могу. Как-то его это нервирует. Хотя к маме он относится сложно: то цепляется к каждому слову, а то с удовольствием смотрит на ее ровную подтянутую фигурку, когда она этого не видит, внимательно слушает ее рассказы – мама милая, начитанная, иногда, если она в ударе, может вдруг очень интересно и увлекательно рассказать что-то. Но... не любит же! Иначе бы все было по-другому. Наверное...

Папа приклеил улыбку, поерзал, почесал живот, быстро глянул – не вижу ли я, не буду ли вышучивать... В этот момент мимо папы, не обращая на него ни малейшего внимания, царственно продефилировал Робеспьер, наш кот-красавец.

– Можно убрать кошку? – спросил папа, с неудовольствием глядя на него.

– Это кот, пап, а не кошка, – ответила я.

– Разница есть? – уточнил папа в который раз и сам засмеялся. Еще больше его развеселила мамина реакция – мама засмущалась. Это повторяется каждый раз.

– Пап, давай анекдот, – ласково сказала я. Потому что шу-

тить на тему, кот или кошка Робеспьер и вгонять в краску маму – это похуже, чем папины анекдоты.

– А, да! Слушай! – Папа подмигнул маме. – Приходит мужик домой... – завел он анекдот, который я слышала от него тоже много раз, но мне каждый раз было смешно. Глупый, страшно глупый анекдот. А смешно – от стыда и оттого, что папа становится похожим на наших самых глупых мальчиков.

Это мне смешно. А мама слушает-слушает его, потом отвлекается, начинает думать о своем, взгляд ее заволакивает грустью... И она, разумеется, пропускает момент, когда надо смеяться. Вот это и есть самый ударный момент – папа хочет, глядя, как мама растерянно улыбается, боясь его обидеть – вдруг папа подумает, что анекдот был несмешной, расстроится! Вообще мама совершенно не знает, как общаться с мужчинами. Наверно, поэтому она одна. Я-то рада, что у нас в доме нет никакого постороннего мужчины и даже моего папы. Не хотела бы я, чтобы папа с его непростым характером жил вместе с нами. А уж чужой человек тем более. Но маму мне иногда становится жалко. Особенно когда она, думая, что я ее не вижу, смотрит на себя в зеркало, как будто там кто-то другой – человек, которого ты не знаешь и не очень-то и хочешь с ним знакомиться...

Мама одна, потому что она думает, что к мужчинам нужно относиться, как к людям. Именно так она мне советовала, когда я влюбилась. Я влюблялась уже два раза, в пятом



классе и в седьмом. И оба раза мамины советы мне необыкновенно вредили. Потом уже, разочаровавшись в мужчинах, в любви, я начинала вести себя правильно. И они бежали за мной, писали, даже – звонили! Кто сейчас звонит?! Только когда уже совсем припрет человека... Но было уже поздно, я уже к тому времени теряла к ним интерес. А до этого... Оба просто выворачивались наизнанку, чтобы показать свое жалкое мужское превосходство, хамили, нагтели, кривлялись... А всё потому, что мама советовала мне, как себя вести. Она хотела как лучше. Что знала, то и говорила. А что может знать о мужчинах моя мама? Которая шестнадцать лет назад родила меня, и, сколько я помню себя, живет совершенно одна – красивая, тонкая, невероятно порядочная, без вредных привычек, с одними только полезными...

– Пропустила? – Папа заливисто захохотал. – Пропустила, пропустила, где смеяться!..

Мама засмеялась вместе с ним, а я лишь плечами пожала. Ну разве так можно? Сказала бы ему сейчас: «Дебильный у тебя анекдот. И сам ты debil!» Он бы тут же задержался, завертелся, попробовал бы рассказать другой анекдот, посмешнее, покруче... А смеяться над самой собой вместе с папой...

– Ну, а тебе, Алехандро, хотя бы смешно? – Не дожидаясь моего ответа, папа сам продолжил: – Ну во-от! Потому что ты моя дочка! Родной человек! Алехандра Сергевна... А мама, она так... Сбоку припека... То ли дело – Алексан-

дрос... – Папа подумал, как бы еще перевернуть мое нормальное русское имя, не придумал, нахмурился.

Мама растерянно улыбнулась. «Растерянно, растерялась, растерянная»... Это основная характеристика моей мамы. Мама растерянно отвечает, растерянно смотрит, растерянно спрашивает, улыбается, прячет глаза, в которых слезы, растерянно дарит подарки и растерянно говорит вечером в свой день рождения: «Ну вот и хорошо, что никто особенно не позвонил... и не написал... Как будто и года не прошло, не прибавилось...»

Мама отчаянно боится стареть. И я всячески подбадриваю ее, хотя тоже отчаянно боюсь, что мама постареет, не будет взбегать по лестнице, хохотать, смотреть на меня сияющими глазами, а будет худенькой растерянной старушкой... Нет! Я ненавижу думать о таком.

Мысли, если они лезут, можно отогнать. Я учусь управляться с собственными мыслями. Если очень нужно, то можно управляться даже со снами. Заставить себя проснуться, если снится что-то страшное, или снится тот человек, которого ты хочешь забыть...

– Другое что-то расскажи, – сказала я мягко, но твердо. – Папочка.

Папа отлично воспринимает этот тон, и, как послушный мальчик, потер лоб, задумался, помычал, побряхтел, посвистел, да и начал другой анекдот.

– Нет, анекдотов хватит, – тем же тоном остановила его я.

Мягко по форме, с нежной улыбкой, но так, что было ясно – возражать бесполезно.

Я не лживая и не притворщица. Просто быть до конца искренней с мужчиной – это все равно что подойти к тигру, медведю или кабану и попробовать искренне спросить его про погоду, про самочувствие, дергая его ненароком за хвост. Мужчин бесит и раздражает полная, понятная им искренность, у некоторых это вызывает скуку, у некоторых агрессию. Откуда я это знаю? Наблюдения за огромным количеством мальчиков – в школе, в туристическом клубе, куда мама меня записала три года назад, чтобы я «общалась с порядочными людьми».

Мама считает, что если человек не бреет волосы, которые беспорядочно растут у него на лице, пишет песни, которые может слушать спокойно только его бабушка, которая давно ничего не слышит, или кот, который презирает его по умолчанию, если человек не обращает внимания, во что он одет, может спокойно не мыться в походе шесть дней, есть грязными руками, спать одетым, не снимая ботинок, этот человек – порядочный. С чего это мама решила? Помнит юность и своих друзей, которые любили ходить в походы. Наверно, они были другими. Брились хотя бы иногда. И так не матерились, как наши мальчики в клубе. Но объяснять это маме – это выбивать почву из-под ее ног. Пусть хотя бы в это верит, потому что часто она жалуется, что у нее вообще не осталось, во что верить. Пусть верит в идеалы своей юности.

Если бы, кстати, не эти идеалы, меня бы не было на свете – однажды сказала мне мама, ничего больше не объяснив...

– О! – Папа, наконец, придумал, что рассказать. Метнул быстрый взгляд на маму.

Я насторожилась. Мама улыбнулась ему в ответ. Как? Как обычно – растерянно. А я решила быть начеку. Уж больно коварно улыбался папа. И победно смотрел на маму. Что ему смотреть так? Оттого что он ее победил, много лет назад? Не тогда, когда я родилась. А когда выяснилось, что есть на свете кто-то лучше, чем моя растерянная мама...

Я в точности не знаю, что тогда произошло у моих родителей, мама много раз собиралась мне это рассказать, но каждый раз, собравшись, говорила: «Знаешь... наверно, рано тебе... Зачем тебе это знать? Так вообще не должно быть... Я ведь верила, что... А получилось... Но ты же любишь папу, любишь меня... И хорошо». На этом рассказы о прошлом заканчивались.

– Так вот... – Папа расположился поудобнее и подмигнул маме. – Жил-был я...

– Начало впечатляет, – побыстрее постаралась сбить его с толку я, поскольку мне категорически не нравился папин самоуверенный тон.

– Алехандро! – Папа прокашлялся. – Не перебивай! Учился я в аспирантуре... Думал, что от ученья может быть какой-то толк... – Папа хмыкнул, никто его не поддержал, он продолжил чуть менее уверенно: – Время было дурацкое, со-

ветское... Точнее, оно только что тогда закончилось, и не верилось, что это – навсегда...

– Мне подходит это время, я бы с удовольствием жила тогда, а не сейчас, – ответила ему я.

– Что ты знаешь о нашем времени! – махнул рукой папа. – Ты хотя бы знаешь, что колбасы в магазинах не было?

– У нас вот всегда была колбаса, – пожала плечами мама.

– Ты в Москве жила, москвичка! А у нас в провинции ничего не было! Консервы и овощи, которые мы сами выращивали... Бычок в томате!

– Все не так, Сережа, все не так было... – покачала головой мама. – Но ты ведь не об этом хотел рассказать?

– Я, папочка, вообще не ем колбасу, поэтому для меня это не критерий, – сказала я. – Что еще было плохого в то время?

– Ты не поймешь, – горько усмехнулся папа. – Ты живешь в свободной стране.

– Поговорим о критериях свободы? Как раз вчера писала эссе по Бердяеву. Свобода – это право на неравенство. Ты готов парировать? – Я слегка обняла папу. Мягкое папино плечо податливо просело под моей рукой.

– М-м-м... – заворчал папа и отстранился. – Не напирай так... Я качался, плечо теперь побаливает... И вообще – хватит уже! Бердяев... У тебя что, есть философия в твоей школе?

– Во-первых, моя слабенькая школка – лучшая школа на нашей улице, папочка. – Я чмокнула папу в щеку, пахнущую

пряным одеколоном. – А во-вторых, в нашей школке есть все то же самое, что у твоих остальных детей, хоть они и живут в другом мире.

– В каком «другом»? – Папа настороженно прищурился, я поняла, что перегнула палку, но вилять хвостом и отступать было поздно.

Мама подняла брови домиком, захлопала ресницами – для нее хуже нет, чем ссора в редкий «родительский день». Если бы я не знала, что потом мама возьмет всю вину на себя, будет плакать ночью, тихо шмыгая носом в темной ванной, еще возьмется извиняться перед папой, я бы продолжила в таком же духе. Но мне стало жалко маму, я крепко обняла папу, чтобы он не смог вырваться – он пытался, но не смог, – и еще раз сказала, уже шутливо:

– В мире охотников, путешественников и золотой молодежи, папочка. Ничего обидного в этом нет. Красивое какое название, слышишь? Золотая молодежь. Я вот – глиняная. Или деревянная. Как тебе больше нравится.

Мама стоя отпила чай, не поднимая на меня глаз.

– Не пойму я тебя, Алехандра, – вздохнул папа.

– Если ты хотя бы хочешь меня понять, это уже прогресс! – засмеялась я. – Многие родители и этого не могут.

– Откуда она такая? – Папа обернулся к маме. – Я – позитивный, веселый человек, с широкими взглядами на мир, ты... – Папа побряхтел. – Слушай, может, она в тебя? Ну, точно, характер плохой – задирается, вредничает, прибедня-

ется... Делит мир на своих и не своих... Врагов везде ищет... А мир он, дочка – огромный и прекрасный! Какого дня ты всем пожелаешь, такой день к тебе и придет! Запомни это! – Папа замолчал, удовлетворенно чмокая губами и, по всей видимости, повторяя в голове то, что сейчас придумал – чтобы не забыть и сказать остальным своим детям.

Мама, которая все это время стояла, как вежливая школьница на линейке, ожидая выговора за своих одноклассников, еще ниже опустила голову.

– Ты хотел что-то рассказать, – напомнила я папе. Я чувствовала, что терпения у меня осталось совсем мало. – У тебя же хороший характер, ты не будешь затевать ссору. И я не буду отвечать на обидные слова. Ведь я хочу быть похожей на тебя, папочка. Учусь дипломатии и маневренности.

– Ладно, – легко улыбнулся папа. – Все-таки ты моя дочь, Алехандра Сергевна. Язык просто – динь-динь-динь, колокольчик звенит! Уболтаешь любого! Так вот. Однажды, много лет назад, когда я оканчивал аспирантуру и мне осталось дописать мою блестящую диссертацию и защитить ее, я решил... – Папа сделал эффектную паузу. – Пойти искать йети!

– Нет! – вдруг звонко воскликнула мама и даже шагнула вперед. – Нет... Ты... Ты не будешь этого рассказывать...

– Почему? – снова улыбнулся папа. – Расскажу, еще как. Хватит уже. Раз ты не собралась... Или ты как-то по-другому уже рассказала?

– Нет... Я прошу тебя... Пожалуйста...

– Не действуют слова! – Папа откинулся на спинку стула. – В отличие от остальных присутствующих, я – деловой и успешный человек. И на меня слова не действуют.

– А что действует? – Мама смотрела на папу необычно. Редко я вижу у нее такой взгляд.

– Дела.

Мама молча взяла вазу, в которой стояли последние осенние цветы, привезенные с дачи неделю назад, одним движением вытащила их и вылила папе на голову всю воду.

– Ты... Ты что? Дура какая!.. – закричал папа неожиданно тонким и прерывающимся голосом. – Дура... Вот дура! – Он вскочил, схватил кухонное полотенце, висящее на ручке духовки, стал вытирать шею, макушку, потом скомкал полотенце и изо всех сил швырнул его в маму. – Вот!.. Вот почему... Вот почему я жить с тобой не стал! Видишь, какая у тебя мать? Пока! Истеричка! Ты – истеричка! Не вышло ничего из встречи! Не провожайте меня! – крикнул папа, хотя никто и не собирался его провожать.

– Ты раньше поливала его водой? – спросила я, когда заперла за папой дверь.

Спрашивать что-то было уже бесполезно. Мама сидела на стуле и плакала. Я налила ей воды, поставила перед ней стакан.

– Пей.

Мама отчаянно замотала головой.

– Пей! Сколько выплакала, столько выпей. Закон такой



есть.

Мама на секунду перестала плакать и подняла на меня совершенно несчастные глаза.

– Ты правда какая-то другая... – сказала она, долго смотрела на меня, как будто давно не видела, отпила воды, потом набрала побольше воздуха и снова стала плакать.

– Ну, плачь, если тебе себя не жалко. Мне вот тебя очень жалко. Хочешь, я что-то сделаю? Хочешь, приготовлю что-то? У нас имбирь есть? Нет? Жалко... А имбирь – это трава такая, да?

– Имбирь – это перец... Сашенька, зачем тебе имбирь?

– Испечь печенье.

– Ты же не умеешь готовить, Сашенька...

– Мам, а что тогда сделать, чтобы ты не переживала?

Мама отмахнулась от меня. Еще бы. Проще плакать, чем говорить по душам. Тем более тут есть какая-то тайна, о которой мама говорить не хочет.

– А что он сказал...

– Папа... – поправила меня мама. – Не «он»...

– Даже в такой ситуации ты... А ну тебя!

Я пошла в коридор, залезла на антресоли и, долго не раздумывая, сбросила оттуда полупустой чемодан, сломанную гитару, несколько пакетов с моими старыми вещами, которые выбросить жалко, носить невозможно, отдать кому-то – сложно, никто не хочет признаваться, что у них нет денег, предпочитают покупать очень дешевые вещи, чем брать чьи-

то старые, пусть и хорошие.

У меня вот есть курточка из Лондона – папа ездил туда с семьей и привез мне курточку с вышитой кокардой, объяснял, что если кто-то увидит из понимающих людей эту кокарду, сразу зауважает меня. Потому что это знак принадлежности к какому-то закрытому клубу, куда пускают людей, чье состояние достигло определенной границы. И еще нужно иметь предков – английских пэров. Как папе досталась эта курточка, я забыла, ведь у нас точно среди предков пэров нет. Есть один неудачный золотоискатель, есть книготорговец, есть хозяин большой баржи, ходившей по Енисею сто двадцать лет назад, домовладельцы, крестьяне Воронежской и Иркутской губернии, есть священники, оперный певец, строители паровозов, разведчики – это уже в прошлом веке. Но только не английские лорды.

А в папе живет какой-то маленький неуверенный мальчик, у которого сердце начинает сильнее биться от слов Париж, Венеция, Флоренция, Мадрид, Нью-Йорк, Флорида... Там – настоящая жизнь (наверно, думает мой папа), там по-другому светит солнце, там – это не здесь... Там нет грязи, болот, смрада, болезней... Там – все самое прекрасное... И хотя папа успел побывать, и не по одному разу, во всех этих и других далеких местах, его собственный маленький деревенский мальчик, который месит грязь дырявыми сапогами по бездорожью, мечтая о далеком заморском городе с большими огнями, пальмами, белыми кораблями, никуда не дел-

ся.

Я с большим трудом выдвинула из глубины антресолей барабан, совсем новый, который однажды подарил мне папа на день рождения, и хотела его снять, но не удержала, и барабан со страшным грохотом загремел вниз.

– Ты мне сердце разорвать хочешь? – воскликнула мама.

– Нет, – ответила я. – Я хочу разобрать антресоли. Это барабан упал, мам. Не знаешь, где от него палочки?

– Господи... – всхлипнула мама. – Сашенька... Ты там видишь коробку с пылесосом?

– Нет. А у нас разве есть старый пылесос, мам?

– Нет... Я просто так спросила...

– Поискать коробку?

– Нет, Сашенька, нет... Это я так... Не обращай внимания...

Подождав немного, я сбросила на пол еще и коробку, на которой аккуратным маминым почерком было написано сбоку его содержимое: «Балетки Сашенькины старые. Коряжка из Тамбовск. обл. Ноты мои стар. Вещи на поделки. Голенища сапог отрезан. Разное». По полу покатились и разное, и коряжка, и «вещи на поделки» – всякие обломки, обрывки, непонятные баночки, кусочки кожи, пуговицы, сломанные красивые заколки, порванные бусы: все, что мама собирает, надеясь, что когда-то я пойму, что лучший подарок на день рождения ей и папе – это подарок, сделанный своими руками.

Однажды, лет семь-восемь назад, когда я еще абсолютно верила всем маминым словам, я сделала папе зайца – кое-как сшила, набила ватой, пришила пуговицы вместо глаз, пушистый хвостик – остаток маминой шапки, на груди зайца вышила какую-то фигуру, задуманную как сердечко... Мама была тронута до слез, расцеловала меня и привезла к папе на дачу, на празднование, куда собрались все его родственники и друзья. А сама ушла. Что ей делать среди папиных гостей?

Что тут началось, когда я достала этого корявого бледно-фиолетового уродца, которого мучительно шила под мамины уговоры три или четыре дня! Папин сын, тот, что помладше, еще ползал по полу, но старшему, Джонни, было чуть меньше, чем мне, он быстро понял, чем вызван хохот взрослых, к тому времени уже хорошо подвыпивших – мы с мамой долго ехали, сильно опоздали к началу, и стал скакать вокруг меня, пихаясь и стараясь дернуть зайца за длинные уши.

Я постояла, посмотрела на них всех, оттолкнула своего полубрата так сильно, как только у меня хватило сил, и ушла. Он упал, все бросились к нему, а я, не найдя в куче вещей в большой прихожей своего пальто, так и убежала, в чем была – в праздничных белых туфлях и коротком бархатном красном платье. На улице был октябрь. Наверно, меня потом хватались, но я точно не знаю.

Я бежала к станции – я знала, откуда мы с мамой пришли, какая-то машина остановилась, за рулем сидела жен-

щина, она подвезла меня прямо домой – за что мне больше всего и попало от мамы. Мама приехала позже меня, ведь она добиралась на электричке. Я сидела под дверью в бархатном платье, и мама от неожиданности чуть сознание не потеряла. А уж когда я рассказала, что ехала на попутной машине... Мама сначала не поверила, а потом второй раз чуть сознание не потеряла. Она еще не знала, как я убежала, оттолкнув Джонни. Я, разумеется, честно рассказала и это. И когда мама узнала, что я «толкнула человека», она вообще потеряла в меня веру, на время, конечно.

«Толкнула человека! Моя дочь! Моя дочь! Толкнула своего брата! Он упал, мог расшибиться!...» Мама долго возвращалась к этой теме, пытаясь убедить меня, что рукоприкладство – это последнее, что может помочь в ссоре. Не убедила, наоборот. Я дерусь всегда, все это знают, поэтому со мной не связываются. Мама пыталась отдать меня на борьбу, я ходила год и перестала. Зачем? Все равно нам там объясняли то же, что и мама: вы учитесь драться не для того, чтобы выяснять отношения с теми, кто слабее или даже сильнее вас. Борьба – это спорт. Нет, сказала я тогда. Для меня драка – это способ отстоять свою честь. Вот и все. И если меня оскорбляют, или не меня, а кого-то, кто не может за себя постоять, я подхожу и даю в ухо. У меня же нет старшего брата, который мог бы сделать это за меня. Вот моя правда. Я не то чтобы очень сильная. Просто я вкладываю в удар отношение к человеку. И попадаю в него не силой мышц, а силой духа и

своего презрения или ненависти. Жизнь – это борьба, даже если моя мама и думает по-другому.

То был второй и последний раз, когда меня звали к папе в гости. Точнее, второй и последний раз, когда я ходила к нему в гости. Папа довольно быстро отошел, тем более что мама попыталась в ответ сделать ему выговор за то, что меня выпустили одну. Папа пообижался, попробовал поругаться, но через месяц пришел к нам сам. Спустя год или два он снова позвал меня к себе, рассказывал, что мои братья очень обо мне скучают. Я была тогда еще мала, чтобы ответить как следует. И просто отказалась. Говорила «нет» на каждое его слово.

– Алехандро...

– Нет!

– Дочь!

– Нет!

– Ну, все!

– Нет!

– Так, ну-ка послушай...

– Нет!

– Ты отца...

– Нет!

– Ты...

– Нет!

Папа побесился и отступил. А теперь я уже могу нормально ему объяснить, что к чему, у меня хватает и слов, и смело-

сти. Поэтому папа ко мне относится нормально. Только мама этого никак не поймет. Каждый раз – каждый раз! – перед его приходом сердечно просит меня: «Веди себя, пожалуйста, с папой, как я тебя прошу. Пожалуйста, Сашенька!» И никак ей не объяснить – если вести себя, как она просит, папа будет вытирать об меня ноги. И папа, и мальчики, и мужчины, и все наши учителя... В общем, все, кто сильнее меня. Как об маму вытирают ноги ее авторы, например, и начальники. И сам папа.

Мама – корректор в издательстве. Это не единственная ее работа, но главная. Еще она учит русской грамоте отстающих детей, которые не хотят ни читать, ни писать. К нам приходят маленькие испуганные дети, которые очень быстро понимают, как нужно вести себя с моей мамой, и начинают именно так себя вести. Мама потом плачет, просит их родителей больше тех деток не приводить, а родители, тоже зная, как себя вести с мамой, либо прибеждаются, жалуются на жизнь, либо еще как-то давят на маму. И она за мизерные деньги терпеливо объясняет сложные правила правописания русских суффиксов страдательных причастий или запятых в придаточном. С некоторых пор хотя бы с одним учеником учеба пошла чуть лучше. Мне удалось очень удачно за маминой спиной объяснить, как нужно относиться к учебе.

Извинившись перед мамой, я вошла на цыпочках в гостиную, якобы за томом «Войны и мира», чтобы срочно подготовиться к сочинению. Напротив мамы сидел крепкий чер-

новолосый мальчик Артем, наглющий шестиклассник, у которого уже стали энергично пробиваться темные усики. У него есть какая-то восточная кровь, но она за пару поколений размылась до неузнаваемости в подмосковных поселках, где жили его ближайшие предки. Только темные непроглядные глаза точно говорят о том, что дальние предки Артема скакали на лошадях, может быть, и праздновали победу, пируя на телах поверженных русских пленников.

Очень трудно мне жить, так хорошо зная историю! Но я знаю, что тот, кто родился сейчас, никак не виноват в том, что делали его дедушки, а тем более прапрадедушки, от которых у него остались, например, лишь бешеный нрав или странное представление о своей исключительности, пробивающееся даже в снах – человек днем может быть самый обычный, а ночью ему снится, что он – повелитель всех стран. И у него много рабов, светловолосых... Что ему делать с этими снами? Откуда они приходят?

Артем сидел и просто смотрел на маму, подперев свой гладкий еще подбородок обеими руками.

– Если глагол первого спряжения... – распиналась мама. – Артем, какие у нас глаголы первого спряжения? Смотри, вот если... Артем, соберись, пожалуйста, детка...

Артем молчал и смотрел на маму, не мигая. О чем он думал – совершенно непонятно. Мама вздохнула и начала объяснять ему отличительные признаки первого и второго спряжения – в сотый раз за этот год. На уроке Артема я обычно



дома и делаю домашнее задание в своей комнате, мне все отлично слышно, хоть мама и говорит негромко. Я показала за маминой спиной Артему, как расплющится его голова, вылетят глаза и разлетятся в разные стороны раздробленные косточки, если он не перестанет издеваться над мамой. Мальчики отлично понимают этот жестовый язык.

Мамин ученик обиженно засопел и наконец посмотрел на маму живым взглядом.

– Ничего не понятно... – пробубнил он.

– Так вот я объясню тебе! – обрадовалась мама. – Сашенька, ты что-то ищешь? – обернулась она ко мне.

– Второй том Толстого, мам. Сейчас уйду, извини.

– Хорошо, хорошо! – улыбнулась мама. – У нас вот как раз лед тронулся...

Я для укрепления результата показала Артему, когда мама опять повернулась к нему, как одним движением я срублю его голову и разрублю его самого пополам. Главное верить в то, что ты делаешь. Тогда человек, которому ты это говоришь, даже вот таким интересным образом, международным мужским языком жестов, принимает от тебя этот волевой посыл и получает необходимый импульс. Как это точнее объяснить, я не знаю, и никто не знает, не разобрались еще в этом ученые, но это точно так.

Артем сглотнул и хрипловато проговорил:

– Это... – Он наклонился поближе к столу, чтобы выпасть из моего поля зрения. – Тут... суффикс...

Мама, видя проснувшийся интерес своего самого слабого и безнадёжного ученика, захлопала в ладоши:

– Ну вот, видишь! Стоит только подумать! У тебя же такая светлая голова!

Артем не удержался, сам поднял голову и посмотрел на меня. Я улыбнулась и кулаком изо всей силы дала ему под дых, в воздухе, разумеется. У пацана задрожали губы, и он попытался напустить слезы.

Мама растерянно обернулась на меня.

– Сашенька...

Я подхватила увесистый том Льва Николаевича Толстого.

– Непротивление злу насилием, мам! Писать пошла. Формальное эссе. Два аргумента за, два – против, один – с объяснением того, что те, кто думает не так, как надо, – идиоты. Заключение: так как думаем мы – это единственная истина.

– Ужас... – Мама искренне покачала головой. – Какой ужас. Да, но так теперь надо, конечно.

– У вас не так было?

– Мы не писали эссе. Мы писали сочинения. Читали книги и писали по ним сочинения.

– А разве не надо было в каждом сочинении писать о том, что коммунистическая партия привела к победе революции?

– Сашенька, ну какая революция в «Войне и мире», например?

– Ладно, мамуль, я не буду мешать, вот у Артема мысль рвется наружу, он хочет про спряжения все точно узнать, да?

Я знаю, что моя сила вовсе не в том, что я сильная и смелая, а в том, что я красивая. Это действует больше всего, в том числе на Артема, у которого пробиваются ранние усы.

Но красота – это не руки, не ноги, не нос и не глаза. Тем более не волосы и не уши. Красота – это что-то другое. Есть безусловные красавицы. А остальные могут быть и красивыми, и некрасивыми, в зависимости от того, кем они себя считают и как себя ведут. Если накрасить розовой краской челку, исколоть ухо дешевыми блестящими сережками, обтянуть всю себя черным: черными колготками, черной тряпочкой вместо юбки и черной маечкой с огромным декольте и ходить, с надеждой смотря на пацанов – кто подойдет ко мне первый, – точно никто не подумает, что ты красивая. Этому меня мама, разумеется, не учила. Я сама делаю такие выводы – материала для наблюдения у меня хватает.

С того занятия Артем всегда взглядывает на меня, розовеет, что-то пытается делать. Вот какой интересный путь к сердцу маленького сопливого мужчины! «Накормить!..» Если бы все было так просто! Они бы сидели, ручные, раскормленные, и рот открывали в ожидании сладкого кусочка. Они же не семенные хряки в животноводческих хозяйствах, а личности! Сложные, другие, только с виду похожие на нас, у них голова по-другому устроена. А если представить, что весь организм обслуживает маленький кусочек загадочной материи, находящейся в прочной костяной коробке, если представить, голова и ее содержимое – это главное...

Ведь иногда считают наоборот – что голова думает, как и куда пойти ногам, что съесть желудку, что делать рукам... А я думаю, что это не так.

Просто мы совершенно ничего не знаем о себе – что такое человек. Я пытаюсь разобраться – с помощью книг, в основном. И прихожу к интересному выводу: есть вещи, о которых некоторые люди думали еще три тысячи лет назад, и я, оказывается, задаюсь теми же вопросами. Ответа пока нет. А кто-то даже не понимает, о чем это они – Аристотель, Кант, Гегель, Лев Николаевич Толстой, Булгаков, Бердяев и – я, читающая их книги...

Нет, я не философ и не писатель и не собираюсь получать гуманитарную профессию. Но я не могу расти, как трава. У меня голова постоянно что-то анализирует, сопоставляет, придумывает, требует пищи. Я и моя голова... Интересная тема для исследования. Я попробовала поделиться своими мыслями однажды с мамой, но она невероятно испугалась: «Сашенька... Может, надо сходить к врачу? Это случайно не раздвоение личности? Давай запишемся к психиатру?» Больше я ее пугать не стала, размышляю о жизни сама.

Мама – тоже думающий человек, просто у нее на размышления совсем не остается времени, потому что она постоянно работает. То, что умеет делать мама, людям нужно, но оплачивается плохо. Однажды мы читали на уроке английского текст какого-то американского журналиста, и мне запомнилась одна его мысль: «Если ваша профессия не оплачивает-

ся, значит, людям это не нужно». Может быть, в Америке это и правда. Но у нас – как раз наоборот. Кому, например, нужны политические партии, которые набирают на выборах полпроцента? Что кому они могут дать? Кому нужны посредники в продаже? Кто-то что-то производит, например, фермер – молоко, кто-то это покупает – мы с мамой, а между нами – как минимум два звена, одного не бывает никогда. Звено – это тот, кто продает, а точнее – перепродает. И они-то больше всех получают.

А мама – учит русскому и исправляет ошибки в книгах, это и есть ее основная работа, поэтому она только два раза в неделю ездит на работу, а остальные дни работает дома. Она приносит огромные рукописи чужих книг, отпечатанные на больших листах, и сидит, согнувшись, по многу часов, правит в них ошибки. Иногда ошибок бывает мало – теперь всё исправляет компьютер. Иногда, даже несмотря на это, рукописи такие безграмотные, что мама исписывает листочки, аккуратно ставя пометки на полях. А потом раздастся звонок, и какой-нибудь автор так ругает маму, что она сидит потом бледная и пьет успокоительные капли с резким больничным запахом.

Так пахло в больнице, куда я однажды попала маленькой, когда мама думала, что я проглотила свой шатающийся зуб. Мне сделали рентген, просветили весь живот, зуб не нашли и оставили на всякий случай в больнице – как просила мама. Точнее, она не просила, она просто умоляюще смотрела на

врача и дрожала, он и решил сделать для нее что-то приятное и оставил меня в палате. Я не спала всю ночь – мешал резкий неприятный запах, духота, постоянные звуки странного аппарата, который был включен около одной кровати в палате.

И вот именно тогда, в ту ночь, я поняла – если я хочу, чтобы жизнь у меня была нормальной, я не должна всегда и во всем слушать свою маму. Мама, оказывается, не всегда была права. Конечно, когда я влюбилась, я слушала ее – но это было пограничное состояние моего организма и мозга. Я плохо соображала – и первый раз, и второй. Что из этого вышло – уже известно. Ничего. Теперь я все равно слушаю маму – она порядочный и умный человек. Но делю, что она говорит, на десять. Потом умножаю на три, прибавляю пять и вычитаю восемь. После этого сравниваю со своими ощущениями и уже тогда действую. Если хватает времени на такое длинное размышление.

Я сложила все обратно на антресоли – лучше ничего не выбрасывать, мама хватится какой-то старой вещи, и будет целая трагедия – как же мы будем жить без моей белой водолазки с двумя трогательными дырочками, в которой я когда-то ходила в первый класс! Или без маминой шапки с ушками, в которой она гуляла со мной на площадке у пруда, и я первый раз пошла сама, слезла с коляски и сделала несколько шагов. При чем тут, правда, мамина шапка, никто не зна-

ет, но даже заговаривать об этом бесполезно. Я как-то предложила маме открыть ларек с нашими старыми шапками, заколками, непарными носочками, непишущими ручками, которые дороги как память – вдруг кто-то найдет себе что-то по душе. Для поделок, например. Но мама расплакалась и сказала, что я черствая и циничная, как... Я поняла, как кто – как мой папа, мама просто договаривать не стала – непедagogично, она меня воспитывает в глубоком уважении к папе.

– Расскажи мне, что хотел сказать папа, ведь ты поняла, расстроилась. – Я села напротив мамы на кухне и взяла сушку. Сушка оказалась жесткой, поэтому пришлось откусить ее с хрустом.

– Не чавкай, пожалуйста, – поморщилась мама. – Ну что ты ешь, как лесоруб...

– Ты видела когда-нибудь, как едят лесорубы? – удивилась я, заталкивая в рот остаток сушки.

– Ну или как огромный немец с большим животом... Нет, нет, – спохватившись, сама поправилась мама, – немцы такие же люди, но...

– Немцы – это внуки фашистов, мама, так что все правильно ты говоришь!

– Сашенька! Ну, как ты можешь! Я же воспитываю тебя в любви ко всем людям... – расстроилась мама.

– Минус внуки и правнуки фашистов, договорились? И еще американцы, которые хотят разделить Россию на пятьдесят маленьких частей, чтобы было как у них – много шта-

тов, каждый со своей конституцией. А еще лучше совсем отдельно: страна Московия, страна Сибиря, страна Якутия...

– Сашенька... – Мама умоляюще смотрела на меня. – Пожалуйста, не начинай про политику... У меня сердце сразу стучит... Это все невыносимо и безвыходно...

– У меня просто зуб мудрости последний растет, мам, – объяснила я. – Поэтому я про глобальные вещи думаю и так некрасиво ем. Неудобно очень. Хочешь на зуб посмотреть?

– Нет... – Мама грустно покачала головой. – Почему ты такая? Ты ведь изящная, стройненькая, не бегемот вроде, и голос у тебя красивый, нежный даже, улыбка такая прекрасная, волосы, как у... – мама подумала, – у принцессы... А ты стараешься быть грубой... Как плохой мальчик... И у тебя не слишком хорошо это получается, знаешь ли. Почему так?

– Где ты этого начиталась! – вздохнула я. – Принцесса, плохой мальчик... Мам!..

– Я книжку сейчас правлю, – засмеялась мама. – Там одни принцессы, эльфы, еще какие-то... с несуществующими названиями... существа. И плохой мальчик, который попадает в этот мир.

– И что, его там съели? – спросила я.

– Сашенька! – Мама опять рассмеялась, щеки ее порозовели. – Знаешь, ты ведь на самом деле похожа на Сережу, только...

– Только девочка, да?

– Только ты лучше... – Мама с любовью погладила меня



по голове. – У него все шутки такие... Смешные, но злые. А у тебя просто смешные.

– Ты поэтому когда-то его полюбила? За шутки?

Мама опустила глаза.

– Давай не будем говорить об этом.

– Почему, мам? Ты мне обещала рассказать, когда я буду большая, как ты познакомилась с папой и почему вы расстались. И вообще, как все было.

Мама испуганно подняла глаза.

– А ты уже выросла?

– Да.

Мама помолчала.

– Можно, я расскажу тебе это... через год? Хорошо?

– Почему?

Я понимала, что настаивать не нужно. Мне было жалко маму и одновременно не жалко. Как так может быть, я не знаю. Но ведь на самом деле так нельзя – не может человек не знать, как встретились его родители, как расстались и почему... Тот человек, который вынужден в бесконечных анкетах, которые мы заполняем в школе чуть ли не каждый месяц – психологические опросы, социологические опросы, тесты, проверки нашей адекватности, готовности к экзаменам, готовности к проверкам (проверка готовности к проверке!:) – писать в графе семья – «неполная».

Я недавно как раз попробовала подчеркнуть слово «полная». Наша классная руководительница, перебирая анкеты,

чтобы удостовериться, что мы все заполнили и подчеркнули, выхватила мою анкету, так и сяк покрутила ее перед глазами и при всех спросила:

– Веленина, ты уверена, что у тебя семья полная?

– Мне хватает, – ответила я.

– У тебя отец есть? Что ты нарываешься?! – повысила голос Агриппина Леонидовна, наша классная, которую из-за ее необыкновенного имени, а также необыкновенного роста, худобы и плохого характера мы зовем Шпала, Дылда или Каланча, кому как больше нравится.

Справедливую, незлую и знающую себе цену учительницу, кстати, никому не приходит в голову называть обидными прозвищами. Нашу математичку, например, объективно похожую на веселого, смеющегося и празднично наряженного Колобка, все уже седьмой год зовут просто Ольга Сергеевна.

– Да, у меня есть отец. Я не отпочковалась от своей матери, родилась обычным путем.

– Встань и постой немного, остынь, Веленина.

Классной в ухо дать нельзя, но можно, выдержав ее взгляд из-под узких очков, отливающих синим, зеленым и ядовито-розовым, сделать по-своему. Но я встала. Сразу завелся сзади Мошкин.

– Алекса, Алекса... – зашипел Мошкин. – Ты... это... задом все формулы... это... не видно же...

Было совершенно не смешно, но дико заржал сосед Мошкина по парте, тощенький инфантильный Мяка, Дима Мя-

кинин. Мошкин попытался еще что-то сказать, но я обернулась, посмотрела на него, и он замер на полуслове. Иногда взгляд действует лучше любых слов и даже кулаков. Но не всегда. Мошкина парализовало на мгновение, потом он ухмыльнулся, а Мяка выругался. Я за это ненавижу большинство мальчиков и тех девочек, которые выражают все свои эмоции руганью. Я читала, что ругань как-то меняет пространство вокруг человека, искажает энергетический фон. Думаю, это правда. Потому что мне от бессмысленной ругани становится тошно и пусто, как бывает иногда, если заболеваешь перед каким-то долгожданным праздником.

Дылда ткнулась взглядом мне в грудь. Внимательно изучила, скривилась. У нас в школе идет негласная борьба с огромными поролоновыми лифчиками, увеличивающими грудь в несколько раз. Наверно, она хотела придраться, но у меня лифчик самый обычный, поэтому она не нашла, что сказать. Волосы убраны назад, губы не накрашены, лифчик тонкий... Юбка!

– Юбка, Веленина, должна быть максимум на ладонь выше колена. Мак-си-мум!.. – Дылда изо всех сил выкинула вперед руку, получилось как «Хайль Гитлер!», только немного вбок. – Максимум!!! Максимум!!! – повторяла она, широко раскрывая и раскрывая глаза, так что казалось, что они сейчас вывалятся у нее из орбит, мешают лишь узкие очки.

Всё, она нашла, к чему прицепиться. В кои веки раз я надела юбку... Урок окончен. Экипаж простился с вами...

Экипажу – плохо.

– Когда я однажды... – Дылда отдышалась, сложила руки на груди и встала, широко расставив ноги и упираясь прямо в первую парту, – пришла в короткой юбке, мой профессор в институте... Я говорила вам, что у меня читал лекции профессор, который пишет вам учебники? (Говорила раз сто, но никто ей сейчас отвечать на этот вопрос не стал.) Я его видела каждый день! Вот так, прямо, близко, как вас! А теперь вы по его учебникам учитеесь! Так вот, он мне сказал... «Халкина... вот вы мне ноги свои показываете...»

Мне очень жалко время, которое уходит на рассказы наших учителей о своих приключениях. Ладно бы они рассказывали разное! Но ведь они рассказывают одно и то же по многу раз. Время останавливается, и странный человек, распоряжающийся на данный момент твоей жизнью, в трехсотый, в пятисотый, в тысячный раз начинает свой рассказ. И попробуй его останови! Станешь кровным врагом.

«У меня есть кот. Удивительное существо. Лечит все болезни. Мальчики, закройте уши! (глупый смех) Когда у меня... ну, вы понимаете... несколько особых дней... (глупый смех) мой кот ложится мне прямо на живот... И все! Спазмы проходят... Мальчики, что вы ржете?» – триста тридцать восемь раз. Биология.

«Мой муж в молодости был чемпионом по велосипедному спорту. Да-да! Не сидел, как некоторые, со своими телефончиками, согнувшись червяком, а побеждал на велогонках! У

нас телефончиков-то не-е-е было! У нас были телефонные аппараты, в будках, и туда надо было выстоять очередь! А в очереди такое бывало... И дрались, и знакомились, и значками менялись... Мы значки собирали и марки, и календарики, а вы, вот вы, что вы собираете?» – пятьсот шестнадцать раз. Экономика и право.

«...И мне профессор сказал: “Вот вы, Халкина, ноги свои показываете, а вы мозги свои покажите, мозги!”» – тысяча восемьсот пятнадцать раз, химия.

Лежащий под тетрадкой телефон забурчал на беззвучном режиме. Я отодвинула тетрадку и увидела на мониторе изображение белой пушистой обезьянки с сложенными перед собой лапками. Милая, хорошая, приветливая обезьянка, дружелюбная и доверчивая. «Папочка» – было написано под обезьянкой. Как кстати! Он звонит далеко не каждый день, а если попадает на урок и я не отвечаю, – обижается и не звонит потом неделю. Но сейчас папа попал просто в точку. Я взяла телефон и молча показала его Дылде.

– Это что? – отшатнулась от меня Дылда, как будто я подошла к ней с поднятой гранатой в руке.

Я все так же спокойно показывала ей экран телефона.

– Что ты мне показываешь? Что это у тебя за звери? Собаки какие-то...

Учителя все-таки удивительные люди. Возможно, от общения с большим количеством неадекватных подростков они сами начинают сходить с ума.

– Это обезьяна, – объяснила я. – Одна. Белая.

– Ты издеваешься надо мной?! Почему ты отнимаешь столько времени от урока? – взвизгнула Дылда. – Меньше кальян курить надо, вам тогда не будут мерещиться белые обезьяны и зеленые человечки вместо ваших учителей! Учителя – тоже люди! Распинаюсь тут перед вами за две копейки! Душу открываю! Да я бы сейчас лучше...

Жаль все-таки, что учителю нельзя дать в ухо. Иногда хотя бы. Ведь им нужно как-то приходить в себя, когда они совсем теряют ощущение реальности. Только что Дылда сама остановила урок и в тысячный раз поставила свою «пластинку» про профессора, который рекомендовал ей показывать мозги, а не мосластые коленки.

Я все так же держала перед ней телефон, а папа, к счастью, все звонил и звонил, надеясь, что я отвечу ему посредине урока. Мяка вскочил, пробежал по классу, глянул на телефон и по большому кругу, obeжав весь класс, вернулся на место.

– Это ее отец звонит! – на ходу объяснил он Дылде и всем. – У Алексы – полная семья. Выяснили, наконец.

– Ну, так бы и сказала, – широко улыбнулась Дылда. – Зачем такие сложности? Какие вы все-таки уроды, дети... Как тебе не стыдно, Веленина! Устроила бесплатный цирк, собак мне каких-то показывает... Сказала бы «Да!» – и все. Я же нормальный человек, все понимаю. Кстати, – Дылда сама себя остановила, погрозила себе пальцем, подмигнула, взгля-

нула в зеркало, которое висит у нее сбоку на стене, встревоженно нахмурилась. – Кстати! Если отец звонит, это не значит, что семья полная. Может, он давно ее бросил и просто звонит, узнаёт, как она.

Я набрала полную грудь воздуха, чтобы спокойно ответить своей учительнице, что она тощая, страшная, вредная и тупая, но вместо этого села на место и дописала то, что Дылда в начале урока, пока ей вожжа под хвост не попала, успела накорябать на доске. Все равно придется разбираться по учебнику, потому что, когда придет проверочная работа из города, никто не подумает о том, что лучше всего мы можем в лицах пересказать разговоры Дылды со своим профессором в институте, происходившие тридцать лет назад, или ее впечатления от поездки в Хабаровск, где она была позпрошлым летом и была потрясена огромным количеством китайцев, мирно колонизирующих наши пустующие земли.

Китайцы были очень вежливые и все влюбились в Дылду, и бежали за ней по выставке, где она выбирала себе китайский автомобиль, и приговаривали: «Пина Реонидовна, Пина Реонидовна» (Дылда преподает химию, не географию, поэтому не видит большого отличия между китайцами и японцами, у которых действительно нет в языке звука «л»).

Еще мы часто смотрим на уроках видеопрезентации ее любимого ученика Толяна Пандейкина, который садится перед камерой, включает ее и в течение пяти минут рассказывает о том, как он понимает смысл электролиза, или окис-

ления, или расщепления молекул серной кислоты. На самом деле Толян никак это не понимает, он просто любит смотреть на себя, слушать себя, показывать себя. А Дылда любит Анатолия, как она его зовет, любит в числе некоторых других старшекласников.

Мне это непонятно, конкретно Анатолий прыщав, говорит плохо, выглядит еще хуже, смотрит всегда в сторону, как будто там сидит тот, к кому он, собственно, и обращается, и сидит прямо на полу, поэтому у Анатолия всегда прикрыты глаза. Другие Дылдины фавориты не лучше. Но «Анатолий!»...

Толян скачал в Интернете нехитрую программу, где фотографии показываются с эффектами, звуками, американской поп-музыкой. И Дылда, плохо разбирающаяся в подобных возможностях, приходит в неопиcуемый восторг от продукции «Пандейкин-кампани», как сам Толян назвал себя и свои поделки. И за одну такую презентацию она может поставить Пандейкину четыре пятерки: за знание предмета, за оригинальность, за владение высокотехнологичным устройством (видеомыльницей, где есть кнопка «Включить» и кнопка «Приблизить») и за любовь к предмету.

Мне на его пятерки наплевать, но мне не наплевать на справедливость, которой нет. И на бесконечную глупость, которая царит у нас в классе благодаря Дылде.

Я как-то рассказала маме об этом Дылдином пристрастии – к мальчикам-старшекласникам. Мама подумала и объяс-



нила:

– Наверно, она всю жизнь хотела сына. Ты не знаешь, у нее есть дети?

– Есть. Сын. Двадцать пять лет. И муж.

– Значит, наоборот. Видит в каждом мальчике сына.

– Ага, и поэтому гладит их по плечам, оценки завышает, глупо смеется, называет полными именами или по отчеству? А они над ней ржут – за ее спиной. И пользуются ее слабостью.

– Дочка, – вздохнула тогда мама, – не углубляйся. Учителей ведь нужно уважать.

– Почему, мам?

– Потому что невозможно тогда ничему у них учиться.

– А если они ведут себя так, что уважать их не за что?

Мама не нашлась что ответить или сказала что-то такое неубедительное, что я просто не запомнила ее ответа. Что тут ответишь? Учителю в цирке и зоопарке не смешно. А ученику – смешно?

\* \* \*

– Сашенька, вставай, папа звонит... – Мама растерянно протягивала мне телефон, присев рядом со мной на кровать.

Я краем глаза глянула на большой будильник в виде встревоженной совы. Конечно, у нее такой встревоженный вид – сову, когда ни разбуди, ей все равно рано... А на сегодня я

будильник выключила – воскресенье. У меня куча дел, но можно выспаться до десяти. Папа до десяти не дождался, папа – жаворонок, редкий сорт людей, радостно вскакивающих в выходные в семь и будящих остальных.

– Гм... – сказал папа. – Привет, Алехандро... Спим, бока отлеживаем?

– Доброе утро, папочка! – ответила я, садясь в кровати.

– Хочу вот... Пригласить тебя, с братьями... В зоопарк.

Зоопарк, охота, цирк зверей и закрытый каток – вот любимые папины точки развлечения с сыновьями, куда он с завидной регулярностью пытается меня приглашать.

На это воскресенье, кроме уроков, уборки и прогулки, у меня были намечены еще важные дела. В турклуб я решила больше не ходить, маме пришлось с этим смириться.

С некоторых пор я разрываюсь между желанием заработать хоть какие-то деньги, чувствую себя достаточно взрослой для этого, и другим неожиданным желанием. Я попробовала поучаствовать в волонтерских делах, и мне это очень понравилось. Там как раз наоборот – все делаешь бесплатно, не для того, чтобы тебе заплатили, а для того, чтобы что-то изменить к лучшему. Ощущение ни с чем не сравнимое. На сегодня я не смогла выбрать, решила успеть и то и то.

Наметила себе выгул двух собачек, уже договорилась с их хозяйкой, и волонтерский рейд по берегу реки, где никто не убирается, но после каждого выходных, особенно если хорошая погода, остается куча мерзкого пластикового мусора и

пустых бутылок. Это никуда не денется, земля не принимает ни пластик, ни стекло, выталкивает, поэтому, если мы не соберем, наш берег реки когда-нибудь превратится в берег мусора. Я брезгливая, но во мне пересиливает другое. Тем более я делаю это не одна, а в компании приятных мне людей, так же смотрящих на вещи, как и я.

А собачки, которых я выгуливаю за деньги, – это отдельная тема. Собачки мерзкие, как мусор, я их ненавижу. Глупые, наряженные, расфуфыренные, в заколочках, в украшениях, в кожаных сапожках. Когда надеваешь им эти сапожки, они кусаются, у меня искусана – неглубоко, но очень больно – вся левая рука. Бить их нельзя, к сожалению.

Хозяйка сидит и смотрит, как я их одеваю. Сама она с нами тоже гуляет, иногда по два раза в день, но они хотят писать много раз в день, не два, а на горшок (изящный розовый поддон с резными краями и инкрустацией, в который кладут специальную тонкую впитывающую подстилку) бегать никак не приучатся – из глупости, даже не из вредности, а от полного отсутствия ума, и хозяйка, хоть и не работает, не может и не хочет выходить на улицу столько раз в день.

Она пыталась сделать на своей огромной лоджии зимний сад или даже подобие улицы: поставила деревца в кадках, скамейку со спинкой и маленький уличный фонарь, как на некоторых садовых участках, но собачки бегают там, мелко-мелко перебирая лапками, нюхают фонарь и понимают – не отсутствующим умом, а нюхом – не-а, не улица, обман.

Прибегают из зимнего сада в комнату и пишут там.

Поэтому их хозяйка нанимает «порядочного человека для прогулки с милыми, воспитанными собаками от двух до семи раз в день...». Так было написано в объявлении, которое висело у нас на подъезде.

Мы живем в одном доме, хозяйка собачек – в «коммерческом» подъезде, мы – в «муниципальном». То есть нам дали эту квартиру, когда снесли нашу пятиэтажку, а Нелли Егоровна свою купила.

Ничем особым наши квартиры не отличаются. Потолки такие же высокие, окна огромные, только ее квартира раза в три больше нашей, тоже вполне просторной.

Квартира ее – на двадцатом этаже, крайняя, и лоджия – размером почти со всю нашу квартиру, около пятидесяти метров, у нее стеклянные стены и зеленая стеклянная крыша, но собачкам это не помогает. И сама Нелли Егоровна лоджию не любит, потому что из-за нее в двух комнатах очень темно. А жить там, на лоджии – неприятно, как в стеклянном стакане.

Еще подъезд у Нелли Егоровны покрашен в бледно-оранжевый цвет, по стенам ползут огромные фиолетовые цветы, со сверкающими серединками. Такие же цветы – на темном потолке, их то видно, то они пропадают, и на чистейшем белом полу, который уборщица моет с утра до вечера, потому что один шаг – и пол грязный. За каждым человеком остается четкий след зимой, и осенью, и ранней весной. И за соба-

ками, которые ходят на своих лапах. Мои – не ходят. Садятся на попу, ложатся на пол или идут в другую сторону, каждая – в свою. Потянешь посильнее – лают так, что теряют голос, и я потом не могу объяснить Нелли Егоровне, что случилось с собакой, почему она охрипла и вся заплаканная.

Конечно, это ерунда, они не умеют плакать, но так кажется Нелли Егоровне, она видит своих любимцев другими глазами. Эти собаки ей – и дети, и внуки, и ученики, и подруги, и игрушки. Всё вообще. Хотя у нее есть муж, но он уходит на работу рано утром и приезжает поздно вечером. И есть дети, они выросли и живут в другом месте.

Когда-то Нелли Егоровна работала в театре, как она мне рассказала, не актрисой, в бухгалтерии, до сих пор называет многих известных актеров Гришка, Ленка, Димка, потому что помнит, как выдавала им зарплату или ссужала немного денег. Но теперь ей работать не нужно, потому что ее муж зарабатывает так много, что у Вени и Алисочки (так зовут моих подопечных) – настоящие украшения – из золота, с настоящими камнями, не изумрудами и не сапфирами, но тоже очень красивые. Наверно, я им завидую. Я не люблю украшений, но я завидую чему-то другому, сама пока не пойму – чему.

Нелли Егоровна платит мало за выгул собачек, но без обмана, всегда сразу получаешь деньги, никуда ездить на подработку не надо, ничем рисковать не надо – разве что рука искусанная. Поэтому я соглашаюсь на это. И коплю деньги.

Мама сначала была категорически против моих подработок, но когда я рассказала папе и он одобрил, она поменяла мнение, посмотрела на это по-другому. Папа ей объяснил, что у детей богатых людей особая психология. Им надо дать понюхать «настоящей жизни». И не важно, что эти дети не слишком страдают от богатства своего отца, как, к примеру, я.

Папа сказал, что у меня в подсознании живет лентяй и бездельник, который не хочет работать, а хочет ездить на «Бентли» и пить шампанское по три тысячи евро за бутылку. Напиваться пьяным, давить прохожих, проматывать папины деньги и бросать из окна недопитые бутылки шампанского и виски.

Я видела в тот момент мамины испуганные глаза – она сама верит в страшную и таинственную силу подсознания. И представить, что во мне, кроме огромного грубого немца, который запихивает в рот полкурицы, лесоруба, чавкающего и громко хохочущего, драчуна, решающего все свои проблемы кулаками, живет еще и бездельник, который собирается ездить по тротуарам в кабриолете и прожигать папины миллионы (он собирается со мной ими поделиться?:)) – моя мама не может. Вот она и согласилась с моей подработкой в качестве няни двух омерзительных собачек, с усами, бородой, лайковыми сапожками и настоящими драгоценностями.

Думаю, не случайно маме дают редактировать сказки про эльфов и няшные дамские романы, переводные, где у всех

героинь фиалковые или, на худой случай, ярко-бирюзовые глаза, герои стройные, накачанные, неженатые, начитанные и надушенные восхитительным одеколоном, который пахнет океаном и рассветом. Я бы не смогла читать с утра до вечера такие книги. Может быть, маме это тоже не особо нравится.

Мама после института немного работала в школе, но, родив меня, засела дома, подрабатывая то здесь, то там. Когда я пошла в первый класс, мама попробовала вернуться на основную работу, но не получилось. Что-то изменилось в школе или в маме, она не смогла управляться с учениками, они ее не слушали. Вот мама и стала корректором. Нет русского слова для этого занятия, потому что уж очень странная профессия. Я думаю так – если человек, который пишет книги, не знает родной грамоты – как же он может писать? А если знает, то зачем тогда мамина работа? Почему столько ошибок?

Мама не любит разговаривать на такие философские темы, у нее от них кружится голова и падает давление. Я знаю, что проблемы с давлением обычно у пожилых людей, но у них давление поднимается. А у мамы – падает. Мама еще молодая, ей пока нет даже сорока лет. У многих моих одноклассников родители гораздо старше. Меня мама родила в двадцать три года. Она училась тогда в аспирантуре, наверно, уходила в отпуск. Но она и об этом тоже не рассказывает.

Все, связанное с моим рождением – тайна, покрытая мраком. Когда-то я думала, что я – приемная. Уж очень подозри-

тельно моя мама отказывалась рассказывать о чем бы то ни было, связанном с моим рождением. Спросить мне об этом некого. Родители моей мамы погибли, когда она была студенткой, и она с тех пор живет совсем одна, у нее нет ни братьев, ни сестер, ни дяди, ни тети. Есть одна взбалмошная родственница на Украине, тетя Рита, пятая вода на киселе, но последние годы с ней никакой связи нет, потому что тетя Рита пошла воевать против России и знать нас больше не хочет. Мама пишет ей открытки на каждый праздник, потому что у нас нет ее нового номера телефона, и к тому же та заблокировала маму в своих контактах в Сети. Но мама все равно пишет и пишет, что мне совершенно непонятно. Если тетя Рита – враг России, то она и наш враг, это логично. Но мама – пацифистка, готовая на любые компромиссы и не желающая воевать ни с кем и никогда.

– Алехандро, заметано? – Папа едва заметно нервничал, ведь я не закричала: «Ура!» Я никогда не кричу «Ура!», когда папа зовет меня на «мероприятия», особенно связанные с убийствами или угнетениями животных, а папа всегда по этому поводу нервничает. – В одиннадцать я у тебя! Джонни и Глебушка о тебе соскучились!

Джонни – это, конечно, Ваня. Но они его так зовут – не в шутку, всерьез, что приводит меня в бешенство. Веками некоторые из наших людей смотрели на Запад и искали там примеры для подражания – говорили и писали на французском, немецком. В прошлом столетии, в самом конце кото-



рого я родилась, заговорили и на английском, благодаря тому, что Америка, отсидевшись за океаном во время обеих мировых войн, стала сверхдержавой, учителем всех народов и главным производителем кинофильмов, второсортной литературы и учебников «Как стать счастливым», «Как стать богатым», «Как стать здоровым». И некоторые, как, например, семья моего папы или моя учительница английского языка в школе, нежно любят иностранцев, как далеких потерянных родственников.

Может, это какой-то зов предков? Осел у нас француз, не добежавший обратно до Парижа в 1812 году, или немецкий дядька-гувернер пустил корни, женился, завел детей, чьи праправнуки теперь с тоской смотрят на Европу и не могут понять, почему их туда так тянет, почему им все европейское кажется родным и прекрасным, а наше – убогим и чужим.

– Папа, я...

Я замялась. Ведь я пока не говорила папе о своем волонтерстве, не уверена, как он к этому отнесется. А сказать еще, и что я променяю папу, Джонни и Глеба на двух бородатых и усатых йорков и пятьдесят рублей, которые мне заплатят за десятиминутную прогулку с ними, – это унижить папу и его сыновей. Хотя папа и считает, что лучше зарабатывать копейку, чем грезить о «Бентли» и шикарной жизни, в данном конкретном случае он просто обидится и бросит трубку – я отлично знаю своего папу. – Давай в одиннадцать тридцать,

хорошо?

– Ленишься! Все ленишься и спишь! – укоризненно сказал папа. – Вот мои мужики уже встали и сбегали в бассейн! А ты бока отлеживаешь!

Бассейн находится на минус первом этаже папиного дома. Еще у него в доме живут такие богатые люди, что другим жителям в один лифт с ними заходить не разрешается. Если они едут, то охранники оттесняют всех и не дают войти. Я рада, что живу не в том доме, особенно после того, как папа рассказал, что однажды автоматчики заставили всех лечь на пол в лифте, потому что ехал какой-то восточный гость и рядом с ним нельзя было стоять. Он захотел войти в лифт – и вошел, не стал ждать пустой. А остальных положили на пол. Но в бассейн я бы тоже с удовольствием бегала каждое утро, если бы он был у нас в доме.

Папа пожурил меня и согласился, а я встала, сделала зарядку и побыстрее пошла к своим собакам, их же надо успеть выгулять. Я, конечно, преувеличиваю, когда говорю, что ненавижу их, и называю их мусором.

Вчера, например, когда мы топтались с Веней и Алисочкой у нашего подъезда – дальше я никак не смогла уговорить их пойти, – мимо нас пробежал мужчина в спортивном костюме, а за ним, едва поспевая, очень бойко и радостно промчался совершенно голый йорк – мальчик или девочка, я не поняла, но веселый и безо всяких украшений, сапожек, жилеток, шапочек. Мои дохляки проводили чужого йорка рас-

терянными взглядами.

Веня сидел в луже – из вредности, чтобы поскорее пойти домой, а Алисочка беспомощно поднимала переднюю лапку и жалобно смотрела на меня, то и дело облизываясь – она знает, что на Нелли Егоровну вид ее высунутого языка оказывает волшебное действие, та сразу начинает сюсюкать, улюлюкать, брать Алисочку на руки, целовать, кормить конфетами, муссами, мороженым...

И я вдруг поняла – они ведь не виноваты. Могли бы так же бегать, не имея гардероба дорогой одежды и пяти шкатулок с украшениями. И как-то меньше стала их ненавидеть.

Нелли Егоровна ведет активную жизнь в Сети и все время фотографирует своих собачек. Ставит их фото, снимает короткие видео – например, как Веня бежит по квартире. Он бежит, потому что ему больше нечего делать, а Нелли Егоровна ходит за ним с включенной камерой и приговаривает низким голосом, как будто это говорит сам Веня:

– Найду, всех найду, от меня не спрячетесь! Где вы тут? Где вы, а ну вылезайте, всех разорву! Ага! Вот вы где!.. Р-разорву за свою ма! Пока па на работе, у ма – только я защитник! Вы меня еще узнаете... Р-р-р...

Кого ищет Веня – совершенно непонятно, ведь других зверей, кроме двух йорков, нет, а друзья, если и приходят к Нелли Егоровне, точно под кровать не прячутся.

Алисочку она любит снимать, когда та стоит, словно застыв на ходу, и молча смотрит на Нелли Егоровну. А Нел-

ли Егоровна озвучивает внутренние монологи своей собачки. Хозяйка заранее не готовится, поэтому никогда толком не знает, что сказать, просто повторяет:

– Что? Что ты смотришь на меня? Да, я вот такая... Что? Смотришь? Да, я красивая... Показать тебе язычок? А вот не покажу! А попку тебе не показать? У меня на попке золотое сердечко, показать? А что ты мне за это дашь?

Нелли Егоровна каждую неделю водит йорков в парикмахерскую, и там им делают стрижки. Поскольку волосы так быстро не отрастают, им делают разные укладки, прически и рисуют золотой, серебряной, розовой краской разные знаки на тельцах. То иероглиф, то сердечко, вдруг Алисочка заявит на прогулку со свастикой – индийским знаком солнца, а Веня – с черным тюльпаном или одним блестящим глазом на попе... Под курточками, юбочками, штанишками этого ничего не видно, в холодное время года все пропадает зря, поэтому Нелли Егоровна дома фотографирует их попы и как отдельный подарок своим подписчикам ставит в Сеть.

У Нелли Егоровны много виртуальных друзей, которые целые дни проводят в просмотрах чужих фотографий, видео, пишут комментарии и отвечают на комментарии к фотографиям своих собачек.

● Алисочка, какой у тебя язычок... какой же он розовый, сладкий... Не язычок, а марципанчик, так и хочется его съесть...

● Веня, ну-ка еще раз повернись, мальчик, что там у тебя

на попке, что сегодня нарисовано... какая сладкая попка... везет же твоей ма...

● Чили-перчик, ты настоящий мачо... проказник такой... какой у тебя галстук... где же ты его взял? Тебе очень идет...

● Свежий осенний вид у Персика – мы, девочки, любим это дело... ха-ха-ха... чмоки-чмоки... Прелесть, чудо, лапочка, ушастик, нежный хвостик, глазки, ротик, лапки... восхитительно...

Я думаю, они сошли с ума. Бывает же такое. Все подружки Нелли Егоровны – взрослые женщины, не девочки. И живут по всему миру. Некоторые комментарии написаны по-английски. Может, просто у них в детстве не было игрушек, они росли в таких бедных семьях, что у них не было ни кукол, ни мячей, ни мишек...

У нас есть рядом один дом. Его в округе называют гетто. Там квартиры – тринадцать квадратных метров, в квартире нет своей кухни, кухня и душ – общие, в коридоре. В такой квартирке иногда живет и шесть, и восемь человек. Разные бывают обстоятельства у людей. Чаще это приезжие, с Кавказа, из Средней Азии, с Украины, – они снимают эту квартиру на всю семью. Я хожу в школу мимо этого дома и смотрю на окна.

В некоторых окнах видно двух- и даже трехэтажные кровати – это же удобнее, чем спать на полу, не все могут спать вповалку, как степные народы. В других видны коробки, мешки, хлам. Иногда на подоконнике стоит красивый цве-

ток, окно чистое, аккуратные шторы... А из какого-то окна обязательно свисают старые треники или продукты в пакетах, на которые зарятся вороны, или кто-то сам свешивается, кричит, ругается, курит, выливает что-то...

Еще в этом доме живут алкоголики, которые нигде не работают, говорят, что они сдают свои нормальные квартиры, на это существуют, а здесь набились в одну такую квартирку и только пьют. Они ходят парами или целой стайкой, редко по одному – страшные, опухшие, с мертвыми глазами, раздутыми веками и губами, сами худые, скособоченные... И мне их жалко, потому что они как ходячие трупы. А у них тоже есть дети. Они выходят сами во двор гетто – даже трехлетние, берут палку, камень, какую-нибудь тряпку и играют с ними, как с настоящими игрушками. Я однажды видела, как маленькая девочка сделала из тряпки куклу и воспитывала ее.

Вот, может, все подружки Нелли Егоровны жили в таких гетто, и у них не было ничего, они в детстве воспитывали тряпки, представляли их принцами и принцессами из далекой волшебной страны... Поэтому теперь они играют в собак? Как будто собаки – это их дети, их принцы, их возлюбленные? Хотя по возрасту это не проходит. Когда они были молодыми, таких нищих еще не было. Мне трудно в это поверить, тем более что все по-разному рассказывают о том, что было в моей стране тридцать, сорок, шестьдесят лет назад. Мама – так, папа – по-другому, учитель истории – по-

третьему. Но у меня есть глаза, уши, я могу и сама сделать какие-то выводы.

Погода была очень плохая, Нелли Егоровна нарядила йорков на всякий случай потеплее. На Вене была новая ярко-зеленая крокодиловая курточка, кеппи, которое никак не хотело ровно сидеть и съезжало ему на один глаз, отчего Веня тряс головой, разматывая в разные стороны свои длинные усы, постриженные, как у древнего карпатского пана – свисающими прядками. Сапожки у Вени были такие, что соседка в лифте, которая ехала с нами, завистливо покачала головой: – Да-а... вот мне бы такие...

Алисочка тоже щеголяла обновками: белые слипперы – неспортивные кроссовки, замшевое пальтишко, стильная юбочка из кусочков кожи и кружев и невероятной красоты заколка, собирающая ее пышную челку в задорный хвостик, с разноцветной эмалью, ярко-синими и темно-зелеными камушками.

Нелли Егоровна не рассчитала, что на улице грязно. Как-то быстро в этом году наступила осень, промчался сентябрь, тут же пришел октябрь, и стало невероятно грязно. Откуда берется эта грязь, я никогда не понимаю, ведь у нас почти вся земля уже залита асфальтом. Мне иногда кажется, что пыль и грязь – это параллельная форма жизни. А иначе откуда тогда появляется пыль в закрытом ящике у меня под кроватью? Или грязь перед нашим домом, где до ближайшей клумбы или крошечной лужайки – метров сто, остальное все

– асфальт, плитка.

Алисочка и Веня оба сильно испачкались, Алисочкины белые слипперы стали коричневыми, лайковая кожа на Вениных сапожках побурела, одежда тоже промокла от грязи.

Нелли Егоровна всплеснула руками:

– Бедняжки мои! Ласточки! Солнышки! Зайчики! Конфеточки мои! Это кто же вас так извасюкал? Это кто же так вас не любит? Это кто же так над вами насмеялся, в грязи вас купал?

Я спокойно стояла, ждала, пока она мне заплатит. Понятно, что моя оплата – это один троллейбусный билет. Но, во-первых, у меня единый, и билет мне не нужен, а во-вторых, надо с чего-то начинать.

У меня есть одна приятельница, которая живет в Подмосковье, Настя. Она на год младше меня, ей только что исполнилось пятнадцать лет, и Настя, сдав экзамены за девятый класс, все лето работала, по одиннадцать часов в день, каждый день, без выходных. За все лето у нее было в общей сложности не больше семи выходных. И в дождь, и в жару, и в самые лучшие летние деньки Настя продавала молочные продукты в магазинчике своего родственника-фермера – с девяти утра до восьми вечера. Обед у Насти не было. Если она обедала и кто-то приходил за продуктами, вызывал ее, нажимая на кнопку звонка у запертого окошка ларька, то она бросала еду и бежала торговать.

Ферма находится посреди огромного поля, на небольшом



возвышении, а ниже, в полутора километрах от нее, – наше садовое товарищество, где маме осталась дача от бабушки и бабушки, которых я никогда не видела. Мама однажды, когда у нас были тяжелые времена, пыталась продать эту дачу, но не нашлось покупателя, и она потом радовалась – как же хорошо, что у нас осталась наша дача, где прямо на участке растут грибы и ягоды.

И все то время, пока я утром сплю, потом не спеша встаю, собираю в саду что-то к завтраку, что созрело по сезону, потом читаю, кошу траву, иду на озеро, опять читаю, дыша мятой, розами, елями, Настя в душной темной комнатенке, полной мух, продает молоко и творог, всегда слишком тепло одетая, в вязаной водолазке, длинных брюках – потому что там два огромных холодильника и темнота. Эта мысль не давала мне покоя все лето. Пока нет посетителей, Настя читает в телефоне романы в жанре фэнтези – сказки про другие, выдуманные миры, похожие на сны, которые видишь, когда болеешь и у тебя высокая температура. Наверно, ей хочется уйти далеко-далеко отсюда, спрятаться в другой реальности.

Настя не сирота, она живет со старшим братом и матерью, оба работают, и Настю послали на работу в девять лет. Раньше она работала не постоянно, а этим летом стала единственным продавцом у фермера. Настя уверена, что она обязана зарабатывать себе на жизнь. Как-то так поставлено в ее семье. Ведь когда-то дети начинали очень рано работать, в царской России – иногда с шести-семи лет. И Насе тоже так

объяснили. Все лето она зарабатывает себе на новые ботинки, новый телефон, новые очки. Иначе у нее просто ничего этого не будет. Я живу совсем иначе. Поэтому мои легкие обиды на Нелли Егоровну за резкий тон или несправедливые упрёки – ничто в сравнении с Настиным рабством и бесправием, которые она воспринимает как данность, не ропща – наоборот, даже гордясь своей работой.

– Там грязно на улице... – все же вставила я, негромко, но твердо.

– Грязно? Грязно?! – взвилась Нелли Егоровна. – Ах, грязно! – Она зарылась головой в Алисочкину челку и с негодованием стала отплевываться. – Да фу ты! И здесь песок! Где ты их изваляла? И что, ты хочешь, чтобы я тебе заплатила? За такую работу? Да я с тебя штраф возьму сейчас!

Моя работа – это принципиальная позиция, я хочу делать что-то полезное, пусть такое мизерное, как прогулка этих разряженных зверюшек. Мы не голодаем, мама достаточно зарабатывает, работает всегда – и летом, и в выходные, и папа каждый месяц дает какие-то деньги. Я еще постояла, подождала, не заплатит ли Нелли Егоровна. Но она все распалялась и распалялась. Я понимаю, что ей очень скучно, наверно, как было тем барыням в девятнадцатом веке, о которых пишут Тургенев и Толстой. Чем им было заняться в своих поместьях? Они мечтали о любви и разгоняли своих слуг. Вот и я – вроде как служанка у Нелли Егоровны.

Я пожала плечами – сколько можно слушать эту галима-

тью? Повернулась и ушла.

– Сейчас матери твоей позвоню! Скажу, как ты хамила! – кричала мне вслед Нелли Егоровна.

У меня в голове крутились какие-то черные шутки, мне хотелось повернуться и посоветовать Нелли Егоровне, например, съесть своих собак. Или снять с них шкурку и сделать себе воротничок и шапку. Всем бы стало легче – и зверюшкам, и ей самой. Но я сдержалась и так же молча села в лифт. Забавно, что она мое молчание воспринимает как хамство.

Дома я быстро съела теплую, приятно пахнущую ванилью кашку, которая дожидалась меня на плите, поцеловала маму, накинула куртку, которую мама купила себе, а отдала мне – у нас так часто бывает, чем красивее новая вещь, тем меньше мама себе в ней нравится и отдает эту вещь мне (странно только, зачем она покупает вещи, которые ей сильно велики – я ведь выше мамы почти на голову). И выбежала к папе и братьям, которые уже приехали и толклись на стоянке перед домом.

– Ну ты, конечно, Алехандро... – Папа осмотрел меня с ног до головы, от удовольствия даже зажмурился, причмокнул, потом взял себя в руки, оглянулся на Джонни, который тоже глупо улыбался, красный и смущенный. – В смысле, курточка у тебя... гм... Вообще красиво... Тебе красный к лицу... Взрослая такая... Ты зачем так быстро растешь?

Один лишь маленький Глеб, еще не заколосившийся пу-

бертатом, равнодушно и спокойно сказал мне:

– П'ивет, чучелко!

– Привет, малыш! – ответила я и потрепала его по голове, привыкшая к причудам своего полубрата.

Глеб ходил в особый сад, а теперь – в особую школу, в начальный класс, там нет собственно первого, второго или третьего класса. Дети там сидят на полу, спят по желанию – в любое время или не спят днем вообще, едят, когда хотят и как хотят, могут вымазаться кашей, пюре, могут рисовать едой на столе, есть руками, называют учителей на «ты», изучают с шести лет несколько языков, обо всем говорят свободно, у них нет никаких ограничений. Взрослые думают, что от такого воспитания из их детей вырастут гении. В эту школу очень трудно попасть, и обучение там стоит дорого.

Джонни тоже ходит в особенную школу, но в другом смысле особенную. Его с большим трудом устроили в бесплатную школу в центре Москвы, где учатся дети и внуки министров, дипломатического корпуса, знаменитых политиков и народных артистов, композиторов, дирижеров. Джонни хоть и гордится своей школой и одноклассниками, но чувствует там себя неуверенно – он, наверно, самый незнаменитый из них, его папа – никто в сравнении с другими, по той шкале ценностей. Я представляю, как это неприятно.

Я знаю, что я нравлюсь Джонни, еще ему нравится дочка председателя какого-то комитета в Госдуме, он мне сам об этом рассказал. Обе влюбленности совершенно безнадеж-

ные, Джонни расцвел прыщами, краснеет, плохо говорит, и наша вынужденная дружба с ним почти закончилась. Но папа ничего этого не понимает, рад, что мы пока хотя бы не отказываемся встречаться.

Джонни толкнул Глеба – то ли случайно, то ли обиделся за меня, а папа, насильно улыбаясь, спросил:

– Почему ты, Глебушка, Алехандру называешь чучелком?

– К'асная мовда у обезьян... – пожал плечами Глеб. – И попа к'асная... Сигнальные огни... Бэ-э-э... бэ-э-э... – Глеб покрутил ладошками, потряс пальцами, как будто показывая, что у него в руках ничего нет.

Папа принужденно засмеялся, приподнял сильно отяжелевшего за последнее время Глеба и опустил обратно на асфальт. Я видела, что папа растерялся и не знает, что сказать. Побоялся, что я не то что-то подумаю, но я давно привыкла к этому бреду и случайному набору слов, который говорит Глеб, потому что их так учат в школе. Что пришло в голову – то и говори. Если не пришло ничего, все равно говори, не молчи. Хотелось бы мне посмотреть на автора этой методики и спросить, все ли у него самого в порядке с головой. Но он живет далеко, за тремя морями. Папе не нравится эта школа, но его жена руководит жизнью папиной семьи, и папа поспорить-то может, но итог спора заранее предreshен.

Глеб, кстати, по возрасту давно должен был уже правильно выговаривать букву «р», но он так рано начал говорить на стольких языках, что запутался, как надо произносить «р»,

и не стал никак. Нет «р» – и все тут. Глеба сначала называли Елизаром, но на вопрос «Как тебя зовут, мальчик?» Глеб отвечал «Елизай», и все начинали смеяться. Джонни звал его Елик-Пелик, и это не нравилось его матери. Поэтому малышу поменяли имя, это можно – пойти в загс, сказать: «Извините, мы ошиблись, хотим нашего ребенка назвать по-другому».

Некоторые так по многу раз приходят и все никак не могут остановиться на каком-то имени. То имя стало немодным, то мама разочаровалась в певице, в честь которой назвала дочь, то человек себя опозорил, а у ребенка такое же имя – разве может мальчик носить имя человека, который разворовал полстраны и прячется где-то? Или мама выходит снова замуж и переименовывает дочку в честь матери своего нового мужа, чтобы он лучше относился к приемной дочери... Все это мне рассказал Джонни, который все равно зовет Глеба Еликом-Пеликом, если хочет его подразнить – потихоньку, конечно, потому что опасается своей матери, папиной жены.

Папина жена Лариса внешне больше всего похожа на упитанного крокодила, а по характеру мне напоминает быстрого, беспощадного, хладнокровного хищника, умеющего летать, ползать, затаиваться, нападать из-за куста, пикировать с неба, внезапно выпрыгивать из воды, раздирать жертву за несколько секунд и как ни в чем не бывало двигаться дальше, не оглядываясь. Она не разрешает ни смеяться над Глебом, ни учить его произносить «р». Она говорит,

что к нему все придет само, потому что гениев вообще учить ничему не надо, только напортишь.

Джонни любит рассказывать мне об этом, жаловаться. Может, он преувеличивает, прибедняется, испытывает какие-то ревнивые комплексы, ревнует папу к своей матери, или мать к папе, или ее к Глебу – так ведь бывает, мы проходили в школе по «обществу» – обществознанию... Но Джонни описывает ее поведение именно так. Я с ней встречалась мельком – иногда она привозит папу ко мне на машине на пару часиков, а сама уезжает по магазинам. Поэтому мне гораздо больше нравится, когда папа приезжает сам, за рулем, со странным Глебом, заколосившимся Джонни, и мы идем в пиццерию, в музей автомобилей, в боулинг, в цирк.

– В зоопарк! – Папа оглянулся на нас, убедился, что на заднем сиденье, где мы уместились втроем, все в порядке.

Глеб, крепко пристегнутый в автомобильном кресле, ответил папе что-то на одном из языков, который он знает, а мы нет. Что-то вроде «xxx плл кллн», из чего я сделала вывод, что это по-немецки. Грубо, резко и как будто рот набит камнями. Я немцев не люблю. Я изучаю историю и понимаю, что с германскими племенами мы воюем испокон веков, точнее, они с нами. У нас есть что-то неуловимо общее. Внешность... (Рядовой немец – как некрасивый русский...) А также смелость, упрямство, стремление быть свободными, несмотря ни на что...

Только мы никогда никого не хотели поработить, а тем бо-

лее уничтожить. Российская империя шла на Восток, захватывая племенные территории, но не поработая население. В этом разница. Воевали лишь с теми, кто не соглашался на наше присутствие. А германские племена в известной нам истории пытались сделать всех остальных рабами или просто истребить.

Когда я сказала так на истории, наш историк ответил: «Ну нет, Саш, ты не права». И больше ничего не сказал, не нашел никаких опровержений в ответ. Рассердился и поставил мне тройку.

Так же было и на биологии, когда я сказала, что не могла эволюция привести к созданию такого совершенно беспомощного вида, как человек. Если эволюция и естественный отбор оставляют наиболее выгодные для отдельной особи и вида в целом признаки, то почему тогда мы – голые, без волос? Почему у нас не отрастают волосы хотя бы на зиму? И самые волосатые народы, наоборот, живут там, где жарко, а не там, где холодно? Почему у муромчан, эскимосов, ханты-мансийцев и лопарей нет меха на теле?

Почему у нас не вырастают новые зубы? Ведь зубов не хватает на нашу жизнь... Износился зуб – тут же вырос бы новый, это было бы логично.

Зачем нам волосы под мышками? Например, у животных под мышками мех становится тоньше, реже...

Зачем южным мужчинам столько растительности на лице – до самых глаз? Они были страшнее, лучше устрашали вра-



га и выживали именно такие – с самой волосатой мордой? Глянет на тебя такой – и ты уже упал с лошади, от страха...

А почему у индейцев волосы на лице не растут вообще? Они очень воинственные, веками вели войны, брали пленников тысячами, а ни усов, ни бороды у них нет. Почему?

Или почему эволюция не приспособила нас к поеданию просто травы, которой полно кругом – животные грызут кору, едят траву, цветы, и им нормально – сыты, довольны, у них нормальное потомство. А мы должны в поте лица своего выращивать некие злаки, не у всех из которых в природе есть дикие предшественники. Почему так? Собирать грибы, ягоды и орехи – гораздо проще и надежнее, чем растить пшеницу, рожь, овес, перерабатывать их сложным путем, хранить, готовить из них еду...

Где-то здесь кроется ошибка или загадка, тайна, потерянное знание. Или то знание, которое совершенно не обязательно для основной массы людей. Спрятанная от нас тайна. Почему? Плохая? Страшная? Невероятная? Или непостижимая? Неподвластная человеческому уму?

– Ну вот... Сейчас далеких предков бананами покормите. Алехандро, отстегни Глебушку.

– Елюшку-Пелюшку... – прошептал мне Джонни, с надеждой заглядывая в глаза. Все время, пока мы сидели, он пытался носком своего огромного ботинка дотянуться до моих сапожек и слегка пнуть меня.

– Я – ненавижу – зоопарк, – сказала я. – Мне жалко жи-

ВОТНЫХ.

– Ничего! – засмеялся папа. – Зато прикольно!

– Не надо так говорить, папа! – вздохнула я.

– Ты против отца выступаешь? – шутливо нахмурился папа, но я видела, что ему не понравилось мое замечание. Он изо всех сил старается быть современным, модным и молодым.

– Нет, я за чистоту русского языка выступаю. Это плохое слово. Давай, говори, – подтолкнула я Джонни. – Я тебе объясняла в прошлый раз.

– Это... – Мой полубрат поскреб висок обгрызанными ногтями. – Это...

– Это наркоманский термин, папа, – пришлось сказать мне, потому что Джонни явно не хотел нарываться. Или забыл, что надо отвечать.

– Так! – Папа сгреб в охапку Глебушку, который слушал меня с открытым ртом. – А вот мы такие слова не разрешаем в нашей семье говорить, да, пацаны? А мы ничего не слышим, мы ничего не слы-ышим...

Джонни выразительно скривился. Понятно, что он за меня – я ему нравлюсь, и он не воспринимает меня как сестру, а папа – это просто папа. Папа устарел по умолчанию – для Джонни, по крайней мере.

Молча мы дошли от стоянки до зоопарка. Глеб начинал что-то говорить на разных языках, чтобы привлечь наше внимание, но каждый был занят своим – папа переписывал-

ся с кем-то в телефоне, Джонни шлепал рядом со мной, то и дело наступая мне на ноги.

– Кому рассказать анекдот? – Папа наконец оторвался от телефона.

– «Пришел мужик домой...»? – засмеялась я.

– Нет, почему? – удивился папа. – Сидят русский, американец и еврей...

– Евйеям делают объезание! – объявил громко Глебушка.

Папа обернулся – не слышит ли кто. Неудобно как-то... А ведь затыкать Глебушку нельзя! Это закон воспитания будущих гениев, иначе у них в голове остановится мощный поток – если ставить ему на пути преграды. Если папина жена узнает, что папа затыкал сыну рот, папе не поздоровится.

– Расскажи, расскажи! – пихнул младшего брата Джонни. – Давай, давай! Поподробнее!

Папа тем временем расплатился в кассе и, стукнув Джонни кулаком в плечо, крепко взял Глебушку за руку.

– Во-от, – громко и весело сказал папа, – а при совке-то карточек не было! – и убрал платиновую карточку в кошелек. – Как мы жили? Не представляю!

– Расскажи, – мирно попросила я и взяла папу под руку. Этот нехитрый жест дружбы и родственной близости обычно действует безошибочно, и сейчас подействовал.

Папа засопел, не отпуская Глеба и не вырываясь от меня, поправил мне шарф, кивнул:

– И расскажу. А то вы ведь не знаете, как нам тяжело

жилось. Нас заставляли быть пионерами. И комсомольцами. И... этими...

– Колхозниками! – подсказал Джонни и тоже попытался поправить мне шарф.

– Да, и колхозниками, – кивнул папа. – Но я имел в виду октябрят. Вся страна была как армия.

– А что ж тут плохого? – удивилась я. – Даже если это и так. У России два союзника – армия и флот...

– По свистку вставать, – раздраженно перебил меня папа, – по окрику ложиться спать, есть по часам – тебя бы это устроило?

– Разве вы ели по часам? – осторожно переспросила я папу. – И вставали по свистку?

– А кто тебе свистел? – спросил Джонни. – Твоя мама? Класс...

– Квас, квас!!! – весело подхватил Глебушка.

– Вроде того... мама... – неохотно ответил папа. – Так, всё! Диспут закончен! Смотрим на зверей! Это – лев.

– Пап...

Я поняла, что сделала огромную ошибку, мне нужно было отговориться чем угодно – олимпиадой, нездоровьем (хотя мама мне и не разрешает наговаривать на себя – можно на самом деле заболеть). Но только не идти смотреть на этих несчастных зверей, которых самый хилый, но самый хитрый хищник на Земле посадил в клетку и тешит себя и своих детенышей, приводя их разглядывать обездоленных пленни-

ков.

Перед нами сидел лев. Не как царь зверей. И даже не как губернатор всех своих товарищей по неволе – животных, которым не повезло и они попали в зоопарк. Думаю, любой из них предпочел бы свободным пробегать два года и быть съеденным другим хищником, чем пятнадцать лет прозябать и ждать своей кончины за решеткой.

Лев жалобно смотрел на меня, как будто хотел, чтобы я поняла его и, выйдя из зоопарка, рассказала всем остальным, как же это плохо, когда тебя лишают свободы.

Папа, внимательно глядя на мою реакцию, неожиданно улыбнулся и сказал:

– Во-от! А ты говоришь!..

– Ты о чем? – повернулась я к нему.

– Вот так мы и жили! За решеткой! Ты ведь любишь свободу? Тебе жалко льва?

– Жалко... – растерянно ответила я.

– А почему тогда тебе не жалко меня, когда я жил за железным занавесом, как вот этот лев за решеткой? Когда мне не давали нормальных книг, не выпускали за границу, я дальше Крыма нигде не был, ну и еще в Осетии там, на Урале, но это не в счет... Так что, дети мои, смотрите хорошенько! Вот и папа ваш так сидел за решеткой, пока, наконец, не сломали империю зла! – Папа победоносно закончил свою речь и даже потряс кулаком, как настоящий борец за свободу.

– Ты за этим нас привел в зоопарк? – спросила я, прекрасно зная, что не надо сейчас выяснять правду.

Есть такая правда, которая никому не нужна. Все это прекрасно знают, и правду эту не говорят. Например, что у нас плохая школа, а вовсе не хорошая. Что у нас плохая классная руководительница, злая, вредная и недалекая. Почему не говорят? А кому станет легче от такой правды? Если все равно ничего изменить нельзя. Или, по крайней мере, быстро изменить нельзя. Сломать – легче всего. Закрыть школу, выгнать учительницу, расформировать этот зоопарк... А куда девать тогда зверей, которые не умеют по-другому жить? А некоторые из них и родились в неволе – они дети таких же, как они. Или, наоборот, их спасли – раненых, больных и поместили в зоопарк. Всё ведь только с виду так просто. Сказать об этом папе?

Папа, наверно, добрый человек. Не знаю. Или злой. О своих родителях невозможно ничего понять. Так близко – непонятно. Чтобы понять, добрый человек или нет, нужно отойти на шаг. Тем более что я не могу судить родителей, которые меня родили, кормят и, очевидно, любят. Я иногда вижу, что они не правы или очень сильно злятся. Как вот сейчас папа.

– Я... привел... тебя... Александра... и твоих... братьев... – Папа выдавливал из себя каждое слово, как будто кто-то его душил, не давал говорить, а говорить надо, вот он и давится такими тяжелыми словами.

Я перевела взгляд на полубратьев. Джонни отступил на

шаг, он ужасно не любит никаких ссор, сразу предпочитает ретироваться. Глебушка уловил папин тон, прищурился и поддакнул:

– Пьивёл!

– Пап. – Я тоже отошла чуть в сторону. Не знаю, как другие, а я обычно физически чувствую негативную энергию. Мне становится от нее как-то не по себе. Она же материальна, как любое поле. – Пап. Вот ты говоришь – империю зла сломали. А что построили взамен? Империю добра? Вот это, в чем мы сегодня живем, – это империя добра?

На голову нам тем временем начал капать препротивнейший мелкий холодный моросьяк – как иначе назовешь эту воду, взвешенную сейчас в воздухе. Это и не дождь, и не ведро – то есть не сухая, не солнечная, не милая осенняя пора... А ужасная пора, серая, тоскливая... Еще морды этих несчастных зверей, их опущенные вытертые хвосты, грязные лапы, повисшие уши... И тоска, тоска в глазах...

Смурь, неведомо откуда спустившаяся на нас, надавила на всех, Глебушка покрутил головой туда-сюда и заревел. Джонни достал телефон, воткнул наушники. Папа почему-то решил, что Глебушка заплакал от моих слов, попытался подхватить его, но его так раскармливают и в школе, и дома (потенциальные гении же едят сколько хотят, без ограничений, Глебушка раздобрел и стал нереально быстро расти), что папа не смог оторвать его от земли. И страшно рассердился. Страшно!

– Ты... – закричал он срывающимся голосом. – Т-ты... да ты... Да ты... Да ты знаешь, вообще, как ты... кто ты...

Я отчетливо видела, что ему есть что сказать. Он не то что слов найти не может. Он сдерживает себя, чтобы что-то не сказать. Я могла подхлестнуть его, но не стала. И не потому что я боялась что-то плохое услышать. Уже плохо, что такие слова есть у него в душе. Или в голове? Где рождаются слова, которые мы говорим друг другу в минуту гнева? Все-таки в душе, наверно. И они разные, эти слова. Если из души – то это самые настоящие слова. А из головы могут быть и лживые. Хотя, конечно, смотря какая у кого душа...

– Что ты так взбеленился? – спросила я папу как можно более мирно, попыталась взять за руку. – Ну, сломали и сломали. Ладно...

– Я не об этом... Ты... Твоя мать... Я из-за тебя человеческий облик теряю...

Бедная потертая лошадь со впалыми боками и очень коротенькими ножками – какой-то редкой породы – слыша папины слова, замотала головой и грустно заржала. Это добило папу окончательно.

– Во-от! Во-от! – вскрикивал он. – Ты всех против меня настроила! Всех! Вынь это из ушей! – Он изо всех сил выдернул наушники у Джонни.

Тот обиженно скривился. А папа набрал воздуха и продолжил, стараясь чеканить слова, чтобы не получалась неразборчивая манная каша. Я знаю, так учат дикторов и по-



литиков, которые не умеют хорошо говорить – рубить слова и делать паузы в неожиданных местах, тогда люди будут тебя от изумления слушать.

– Тебя берут! – кричал папа. – Не для того! Чтобы ты! Издевалась над отцом! И учила! Младших! Братьев! Не уважать! Меня!

– Я не вещь, чтобы меня брать, – пожала я плечами. В мои планы не входило идти с папой на конфликт, тем более такой открытый. Но если он сам настаивает... – Пока! Спасибо! – Я повернулась и ушла.

– Стой! – закричал папа. – Стой! А ну тебя! Идешь и иди! Взрослая уже! Дети, пошли дальше. Так, вон там орангутанги...

Дети, один из которых только на год и семь месяцев младше меня, поплелись за папой. Джонни все оборачивался. Я показала ему в воздухе, как папа делает из него слипшийся пирожок: прессует его кулаком изо всей силы об ладонь, откусывает, морщится, сплевывает и выбрасывает за плечо. Джонни захохотал. Папа резко развернулся и на самом деле изо всей силы толкнул Джонни, и тот, высокий, уже выше папы, мешковатый, плохо стоящий на неудобных длинных ногах, потерял равновесие, потому что слишком сильно тряс тяжелой крупной головой, продолжая хохотать, и упал.

Тут засмеялся Глебушка, а также все окружающие и, само собой, орангутанги, к которым папа привел своих детей. Может быть, они просто верещали, им было вовсе не смешно,

но папа озверел неописуемо. И еще раз пнул Джонни и одновременно стал его поднимать, случайно задел Глебушку, тот тоже упал, мне показалось нарочно, потому что на него давно вообще никто не обращал внимания, а он к такому не привык. Вокруг него должны все скакать, восхищаться, записывать его слова, снимать его на камеру, выкладывать потом в Сеть, чтобы восхищались другие...

Я шла побыстрее к выходу и слышала, как смеются люди, воеет Глебушка, ухают орангутанги и вскрикивает папа, как заведенный:

– Всё! Всё! Всё!

Что «всё», понятно не было, но папе надо было высказаться.

Московский зоопарк – это сравнительно небольшой пятючок посреди города, практически в центре Москвы, рядом с Садовым кольцом. Выйдя оттуда, трудно поверить, что в нескольких шагах от автострады, в километре от Белого дома в клетках сидят грустные львы и потертые лошади, всклокоченные медведи и птицы с подрезанными крыльями и смотрят на тех, кто пришел полюбоваться их страданиями.

Много в жизни людей налажено весьма странно. Зоопарки – это только одна из странностей нашей жизни. Еще мне странно, что мы учимся в школе тому, что никогда нам не пригодится, и не учимся практически ничему, что должен знать человек о себе и об окружающем мире. Я считаю, что прежде всего человек должен уметь за себя постоять – это

главная наука. Человек должен уметь жить на земле, не нанося ей вреда и не вредя себе самому – это еще две науки, разные причем и очень сложные. Человек должен уметь выжить в ситуации, когда он не может включить чайник в розетку, достать из ящика крупу и сахар, а из холодильника – масло. В ситуации, когда у него нет ни крупы, ни сахара, ни чайника, ни розетки.

Меня с некоторых пор мучает вопрос – я пользуюсь огромным количеством предметов, о которых я не знаю ничего. Если бы мне пришлось заново начинать человеческую цивилизацию (предположим, я бы осталась после потопа одна или с каким-нибудь беспомощным Мошкиным), я бы не смогла даже записать – для потомков – что такое мобильный телефон, какой принцип его устройства. Я бы не смогла никак сделать примитивную электрическую цепь. Я бы и огонь не смогла добыть. А как? Стучать камнем об камень, пока не высечется искра? Я стучала этим летом на даче, часа два. Руки все стерла в кровь, а искры так и не выбила...

Думать о сложных, посторонних, вселенских вопросах, когда очень горько и тошно на душе – это мой собственный прием. Моя собственная школа выживания. Я научилась этому давным-давно. Когда учителя унижают тебя или еще кого-то и ты не можешь никак это изменить, самое лучшее – начать думать о том, что такое сила гравитации. Или попытаться представить, что Земля сейчас вращается со скоростью 465 метров в секунду вокруг своей оси и со скоро-

стью 30 километров в секунду вокруг Солнца, а мы этого не ощущаем – мы как будто приклеены к ней с помощью загадочной энергии, силы, преодолеть которую человек не может. Но всячески пытается. Тогда крик Дылды или несправедливые папины укоры так уж сильно тебя не унижат.

Я подумала – если папа позвонит и попросит меня вернуться, я, конечно, вернусь, вредничать не буду. Но он не позвонил, наверно, сильно расстроился из-за того, что так несдержанно вел себя у клетки с обезьянами и все смеялись не над орангутангами, а над ним. А зачем так было чеканить слова? Он же не малограмотный политик и не диктор, которого взяли на телевидение по знакомству, а он совсем не умеет говорить.

Я села на троллейбус и поехала домой, радуясь, что мама в последний момент сунула мне в карман билетик. Мне не давала покоя одна папина фраза... Как-то крутилась и крутилась в голове... Я знала: если спрошу маму напрямую, она замолчит, уйдет в себя... заплачет... Ведь папа имел в виду что-то плохое. Значит, маму это расстроит. Значит, она мне этого точно рассказывать не будет. Надо начать издалека. Не потому, что я хитрая и не хочу с мамой поговорить искренне по душам. Я-то как раз хочу! Но она со мной дружит только до определенного предела. А за этим пределом – мама-друг становится моим родителем, воспитателем и взрослым человеком, у которого есть тайны, страшные тайны, тайны, которые не надо знать детям, тайны, которые могут взорвать мир

самого этого взрослого человека, если достать их из дальних закромов памяти и прошлого.

Когда я приехала домой, от мамы как раз уходил ученик, тот самый Артем, которого я недавно воспитывала утешением. А как иначе? Человек без страха не воспитывается, это же не я придумала. Я выходила из лифта, а он стоял, ждал лифта и ковырялся в телефоне. Увидев меня, он страшно обрадовался, покраснел, надулся, положил одну руку на бок, она соскочила, Артем сам засмеялся и предложил:

– Го Макдак? – Что означало, не хочу ли я с ним, малявкой, пройтись в столовую американского общепита и не съем ли вместе с ним какой-нибудь химический пирожок.

Я пожала плечами и обошла его, потому что он и сам не входил в лифт и не давал мне выйти. Вот наглый какой, а! Представляю, какой он будет через два-три года. Артем еще что-то бубнил мне вслед, но я даже не обернулась. Приятно, конечно, когда в них есть мужские качества – а именно, наглость и смелость, – но не до такой же степени!

У мамы уже сидела следующая ученица – Настя Козочкина, быстро выросшая тринадцатилетняя девочка. За лето она обогнала меня по росту и стала краситься. Я вздохнула – надо было все-таки пойти пешком от метро, дожждаться, пока Козочкина позанимается и уйдет. Козочкина иногда бесит меня так, что у меня поднимается температура.

Я тихо снимала в прихожей куртку и ботинки, чтобы не

мешать маме, которая в это время терпеливо говорила:

– Надо думать, какую приставку писать, понимаешь, Настюша? «Пре-» или «при-». А ты пишешь, не думая.

Я видела в большом зеркале, как Козочкина пожала плечами и отбросила хвост, который затянула так туго и так высоко – на самой макушке, что накрашенные брови поехали навверх, а сам хвост все время падал ей на лицо.

– Я думаю. Это вы плохо объяснили мне, – ответила Козочкина и вспомнила, что говорить надо, сильно вытягивая губы вперед – тогда она выглядит сексуальной, и все мальчики в школе будут за ней бегать. Она изо всех сил вытянула губы и подперлась одной рукой, другой отбрасывая щекотящий ее щеку хвост.

– Хорошо, давай еще раз. Приставка «пре-» употребляется...

Козочкина сидела с совершенно тупым лицом, чесала щеку – щекотно же! – и молча смотрела на маму. Ее светлые выпуклые глаза не выражали ровным счетом ничего – ни радости от знакомства с приставкой «пре-», ни даже раздражения.

– Поняла?

– Ну да... – Козочкина выпрямила спину и откинулась на спинку стула. – Мама говорит, вам надо подобрать ко мне ключ.

Я-то знаю ключ к таким Козочкиным. Нашей Дылды на нее нет. Вот начнется у нее химия в следующем году, Дылда

ей покажет, какие у нее есть ключики. Хотя моей маме Козочкина хамить от этого не перестанет, еще хуже будет. Будет овцой сидеть перед Дылдой, покорной и молчаливой, а потом отыгрываться на маме. Поэтому я и пытаюсь тоже зарабатывать деньги – чтобы хоть как-то помочь маме. Чтобы в один прекрасный день можно было сказать Козочкиной: «Или нормально себя веди, или до свидания!»

Моя мама соблюдает евангельский принцип – «непротивление злу насилием», меня пыталась учить, пока я была маленькая. Я не успела научиться, потому что очень рано поняла, что зло, которому моя мама не противится никак, благодаря ее терпению и смирению разрастается до невероятных пределов и покрывает своей плесенью все вокруг. Это как гниль в сырых помещениях. Если проглядеть, запустить – будет расти на глазах, она ведь живая – другая форма жизни, как пыль.

Козочкина – это не Артем. Ей не расскажешь языком жестов за маминой спиной, как я поступлю с ней, если она будет доводить маму. Разрыдается, ее мать потом будет отчитывать мою маму.

– Объясните норма-а-ально, – капризным голосом сказала Козочкина. – Ничо не поня-я-ятно...

Я ушла в свою комнату, чтобы не слышать продолжения. Одна мысль все не давала мне покоя... Настоящая ли я дочь своих родителей? Может, именно об этом они молчат? Может, я чего-то не знаю? Зачем тогда папа приходит? И я ведь

похожа на него... Но должны же быть какие-то их совместные фотографии, что-то из того прошлого, о котором они не говорят...

Под кроватью, в самой глубине я нашла коробку со старыми фотографиями, маминым дипломом, моими первыми рисунками. Мама все аккуратно разложила по папкам, файлам и пакетам. Я достала объемный мешок с фотографиями. Там лежали фотографии, по каким-то причинам не вошедшие в наш большой семейный альбом.

Вот маленькая мама, чем-то неуловимо похожая на меня, но более встревоженная и робкая, ест что-то или просто держит в руках и испуганно оглядывается. Кто там сзади нее стоит, кого не видно? А вот – бабушка и дедушка, никогда не ставшие старыми и не увидевшие меня. Бабушка была учительницей, как и моя мама, дедушка – военным инженером-конструктором. Как жаль, как невыразимо жаль, что я не могу с ними поговорить. Понять хотя бы, почему мама получилась у них такой испуганной, чем ее напугали в детстве. Или ее напугали уже потом? Но ведь я-то – не такая? А вдруг мои дети будут такими же растерянными и все станут ездить у них на голове, как у моей мамы все ее знакомые, коллеги и ученики?

Вот еще одна мамина фотография – в большой белой шапке, надвинутой до самых глаз, мама похожа на испуганного гномика. Есть хотя бы одна фотография, где она смело смотрит на фотографа?



Я порылась в мешке. Понятно, почему мама не положила все эти фотографии в альбом. В нем – только парадные, неинтересные фотографии, выпускные, из фотоателье, с праздников. А здесь – живые, здесь как раз осколки той старой жизни, о которой мне так хотелось бы узнать.

Я повнимательнее взглянула на одну выпавшую фотографию. Мама как-то обмолвилась, что у бабушки был брат, получается, это мамин дядя, но он так давно куда-то пропал, что мы считаем, что у нас родственников нет. Так вот же он, на фотографии, сидит рядом с бабушкой. Практически одно лицо. Высокий лоб, не очень большие глаза, слегка оттопыренные уши. Даже не поймешь, кто из них старше. Надо расспросить о нем маму. Мне бы хотелось заглянуть в ту жизнь, когда меня еще не было на свете, мама была молодая, а страна, в которой мы живем сейчас, – совсем другая.

Я смотрела фотографии одну за другой. Вот мамина фотография явно из какого-то похода. Я знала, что мама в молодости любила ходить в походы, несмотря на свое хрупкое телосложение и робость. Человек – удивительно противоречивое существо. Моя маленькая мама, тоненькая и несмелая, любила не плести макраме и не вязать шапочки, а ходить с огромным рюкзаком по лесам и горам. Фотография была черно-белая, к сожалению, красоты природы на ней особой не разглядишь, видны только большие горы сзади, и мама – в огромных очках, с короткими растрепанными волосами, улыбается кому-то, кто ее фотографирует. Так довер-

чиво улыбается...

А вот... Я внимательнее всмотрелась в следующую фотографию. Так это... папа! С едва-едва отросшей, но закрывающей все лицо бородой, которая ему совершенно не шла, делала его похожим на восточного торговца с овощного рынка. В поселке рядом с нашей дачей много таких молодцев – плохо побритых, с глазами, смотрящими как будто в разные стороны – правый на тебя, левый – еще на кого-то, кто стоит за твоим плечом.

Один из них прошлым летом все улыбался маме, улыбался, подкладывал лишние помидоры, отвешивал «с походом», заговаривал про погоду... Мама смущалась, старалась побыстрее взять овощи и уйти или вообще купить где-то в другом месте. А я бесилась – что за бред! И дело не в социальной разнице и не в том, что он верит в Аллаха, а мы – с оговорами – в Иисуса Христа, нет. Просто... Трудно объяснить. Очень неприятно, когда кто-то подбивается к твоей маме. А потом однажды, ближе к концу лета, он вдруг сказал:

– Хорошая девушка у вас! Пусть за меня идет! У меня жена добрая, будет ее любить! Подружатся! И дети у меня получаются все хорошие, здоровые...

Мама в ужасе застыла и оглянулась на меня. Я тоже была ошарашена, но пришла в себя гораздо быстрее мамы. Ах, вот оно в чем дело! Он не к маме подбивался – ко мне! Жена у него добрая! Будет со мной дружить!

Торговец не так понял нашу реакцию – или решил не об-

ращать на нее внимание. Он все улыбался, что-то приговаривал, а мы с мамой, не сговариваясь, стали пятиться, потом повернулись и дунули в противоположную от рынка сторону. Этим летом мы у него овощей не покупали.

Мне совсем не понравилось, что папа в молодости был похож на этого человека. Но борода вообще очень меняет человека.

Я услышала, что Козочкина собирается уходить. Я вышла в коридор. Козочкина, опершись о дверь, пыталась натянуть тесноватый сапог.

– Сейчас такие вирусные программы есть... – как бы невзначай обмолвилась я, ни к кому в точности не обращаясь, – они реагируют на ошибки. Если написал с ошибкой, которую даже компьютер исправить не может, и вообще, если слишком много ошибок, то ты ловишь вирус.

Козочкина, так и не натянув сапог, подняла на меня голову, но смотрела почему-то не на меня, а на большой кубок, стоящий на полке – маме когда-то его дали на соревнованиях по спортивному ориентированию. Внимательно смотрела, как будто хотела запомнить его навсегда.

– И что этот вирус? – доверчиво спросила мама, чемпионка Московской области по спортивному ориентированию.

– Всё – получаешь его, компьютер летит, и ни одна антивирусная программа пока не умеет его распознавать.

– Гонишь, – четко ответила мне Козочкина. – Я в сменке домой пойду. Не надеваются.

– Давай я тебе помогу! – сказала мама.

– Мам... – Я заступила на шаг вперед, чтобы мама не вздумала садиться перед Козочкиной на корточки. – Не холодно на улице. Пусть в сменке идет. У нее дом напротив. Нет, не гоню. У нас в классе полетел у троих пацанов компьютер.

– Гонишь... – менее уверенно повторила Козочкина. – За чем это?

– Так это общероссийская программа по укреплению грамотности! Первая часть – выпускное сочинение, вторая – вирусная программа на ошибки, а третья – все граждане будут экзамен сдавать. Все вообще. Кто не сдаст, тому... – Я задумалась – что может напугать Козочкину?

Пока я думала, мама принужденно засмеялась.

– Сашенька все выдумывает! Не переживай, Настена! Никто за грамматические ошибки еще людей не наказывал!

– И очень зря, – пожала я плечами.

Козочкина все поглядывала на меня с сомнением. Я взяла ее сапог, расстегнула короткую молнию сбоку вниз.

– Так попробуй. Может, наденутся.

Мама всплеснула руками, радостно засмеялась, как будто Козочкина уже получила пятерку по экзамену на знание родного языка. Я махнула рукой и пошла за пакетом с фотографиями.

Когда мама закрыла дверь за своей незадачливой ученицей, я уже ждала ее с разложенными фотографиями на столе в кухне.

– Мам. Зачем ты перед этой Козочкиной распинаешься?

– Сашенька! Как я переживаю, что ты иногда недобро относишься к людям! Ведь она прежде всего человек, а потом уже ученица... Может, она и не права...

– Они на голову тебе все садятся... – Я не стала продолжать. Я прекрасно вижу, что они ни капельки не уважают маму, вот в чем дело. Мама – добрая и хорошая, слишком. Как старец какой-то, который ест хлеб, пьет воду и носит вериги. И верит в бесконечное добро.

– Не переживай! – Мама солнечно улыбнулась. – Когда-нибудь Козочкина все поймет. Обернется назад и поймет, что никто лучше меня к ней не относился. Может, и так будет.

Я недоверчиво посмотрела на маму. Она не такая наивная, какой кажется иногда.

– Зачем тебе это?

– Я по-другому не могу, прости, Сашенька.

– Ладно, да что я... Мам... расскажи мне, пожалуйста. Впервые, кто это? – Я пододвинула ей фотографию, где мой дедушка сидел с человеком, явно на него похожим. – И во вторых, что там было, в этом походе, куда вы с папой вместе ходили?

Мама очень встревоженно посмотрела на первую фотографию и, лишь взглянув на вторую, опустилась на стул.

– Да, я знала. Знала, что когда-то придется тебе рассказывать... Сашенька... – Мама начала плакать, подошла ко мне,

обняла, потом опять отсела, попыталась собраться, не получилось, она стала плакать дальше.

Я подождала немного. Мне было ужасно жалко маму. Но я не понимала, отчего она плачет.

– Там кто-то умер, в том походе? Почему ты не хочешь мне говорить? Что-то страшное случилось? Кто-то погиб?

Мама подняла на меня глаза. «Как я тебе это скажу?» – говорили мамины глаза, я это отчетливо видела.

Что же такое страшное, невероятное произошло тогда, что заставило маму расплакаться с пол-оборота, и она ни слова, ни полслова не может мне сказать?

– Ну ведь в этом походе ты была с папой?

Мама помотала головой. Потом кивнула. Глубоко вздохнула. Собрала рассыпанные фотографии в ровную кучку, одним движением рассыпала их, снова собрала.

– Ну то есть... – начала мама и замолчала. – Мы не вместе ходили...

– Ты там с ним познакомилась?

Мама снова молча кивнула.

– И ...?

Мама умоляюще подняла на меня глаза. И опустила их, так ни слова не сказав.

Ну что мне, пытаться было? У меня фамилия папы, мама – Орловская, я – Веленина. Папа с мамой жили вместе очень недолго, как я понимаю, фотографий свадьбы я никогда не видела, но не у всех же они есть... Дедушка с бабушкой по-

гибли еще до моего рождения (кто мог маме свадьбу организовать?), про папиных родителей я немного знаю, они живут не в Москве.

– Ничего не скажешь?

Мама отрицательно pokrутила головой.

Если бы это была моя подружка, я бы сказала: «Трусость!» Но маму мне было безумно жалко, я уже пожалела, что завела разговор.

– Убери, пожалуйста, все это, – попросила мама.

– Хорошо. Хотя бы о дедушкином брате расскажи. Он жив?

Мама неуверенно покачала головой.

– Да... или нет...

– Почему мы с ним не общаемся?

– Потому что мой папа с ним не общался.

– Почему? Поссорились?

– Он... дядя Коля был... Ты не поймешь...

– Террористом? – хотела пошутить я, но не получилось.

Мама серьезно посмотрела на меня.

– Вы – ужасно глупое поколение. Ничего не понимаете.

– Ненавижу, когда ты меня называешь на «вы», объединяя с некими мифическими ровесниками. Все очень разные.

– Ну да, – кивнула мама. – Дети демократии... взорванного мира... И в голове у вас что-то разорвано как будто...

– Мы же не виноваты, что родились в таком обществе... Я не виновата, – поправилась я. – Я – это я, а Мошкин, на-

пример, это Мошкин.

– Он тебе нравится? – живо спросила мама.

– Мошкин? – засмеялась я. – Как может нравиться debil?

– Сашенька! – всплеснула мама руками, даже порозовев. –

Ну как же так! Хороший мальчик, я его видела, умный, симпатичный, бойкий такой, веселый...

– Кто? Ты про кого сейчас говоришь? Мам... Не заговаривай мне зубы. Кем был этот дядя... Коля? И где он живет?

– Зачем тебе это, Сашенька?

– Да потому что я хочу знать своих родственников.

– У тебя есть Ванюша, папа, я, Глеб...

– В интересном порядке ты перечислила родственничков, мам... – Я покачала головой.

Да, кажется, зря я думаю, что мама моя простая и незапуганная. Мама – как матрешка. Откроешь – а там еще такая же, тоже простая, в платочке, с честными доверчивыми глазами. А там – еще...

– Хорошо, – сказала мама и погладила меня по руке. – Не ерещись, Сашенька. Давай поговорим. Я ведь не многое помню. Папин брат был против Советской власти. Ты знаешь, что такое Советская власть?

– Мам... Это же Мошкин debil, а не я!

– Ну вот. А мой папа, твой дедушка, был коммунист, верил во все, честно работал и... Ну в общем, они совсем рассорились.

– А что случилось с дядей Колей? – осторожно спросила



я. – Его посадили в тюрьму?

– В это время в тюрьму за другие взгляды уже не сажали, Сашенька... Если только... гм... Родину не предавали в открытую – секреты военные не разглашали... Он уехал за границу, там работал на радио...

– Кем?

– Я точно не знаю... Журналистом, кажется... Рассказывал, как ему здесь плохо жилось...

– Ничего себе! – присвистнула я. – И ты мне ничего не говорила! А фамилия у него какая? Он тоже Орловский?

– Нет, он сократил ее. Орлофф, с ударением на первый слог, – улыбнулась мама. – Николас Орлофф. Ну все, узнала? Довольна?

– Да нет, конечно! Странный ты человек! Что тут скрывать-то?

– А вдруг бы ты тоже стала такой... – неуверенно покачала головой мама.

– Против России, что ли? Да с чего, мам?

– А с чего Коля вдруг таким стал? Два брата росли в одной семье, погодки. Один – мой папа, другой – дядя Коля. И один из них вдруг решил бороться с системой...

– Безумно интересно. И в какой стране он живет?

– В Австрии, кажется. Или нет, в Германии, – сдержанно ответила мама. – Жил, по крайней мере.

– Может, съездим к нему? – с ходу, не подумав, предложила я. – Хотя... А ты слышала его передачи?

– Один раз... – неохотно ответила мама. – Давно.

– А он знает, что его брат погиб?

– Сашенька... – Мама покачала головой.

– Ты не написала ему?

Мама серьезно посмотрела на меня.

– Ты разговариваешь со мной, как на допросе. Нет, не написала. Мне было очень тяжело. И я не знала, куда писать.

– А он сам ни разу не звонил?

Мама помолчала.

– Года четыре назад, наверное, пришла открытка без обратного адреса. Когда мы с тобой еще в пятиэтажке жили. А теперь он и нашего адреса не знает.

– И что в той открытке было?

– Ничего особенного, – вздохнула мама. – «Поздравляю с Новым годом, желаю крепкого здоровья...»

– А подписана она как была? Николас Орлофф или дядя Коля?

– Дядя Коля... кажется... – растерянно ответила мама. – А что?

– Большая разница, – объяснила я маме.

Недавно к нам в школу приходили двое сдержанных сорокалетних мужчин, строго и неброско одетых, с непроницаемыми лицами, приветливые и... необычные. С первого слова, когда они заговорили, в классе установилась полная тишина. Тишины у нас не бывает никогда – есть люди, которым наплевать на всех и на всё, они не боятся ни двоек,

ни плохого аттестата, не бояться не сдать ЕГЭ и никуда не поступить, не бояться, что вызовут родителей – пусть учителя боятся! А они не бояться ничего, им нечего терять – то, что у них есть, потерять невозможно, так они считают. У них все было, есть и будет. И не потому, что они такие уж богатые. Самая богатая в нашем классе я, точнее, – мой папа. Просто никто об этом не знает и не узнает никогда.

Но когда те двое мужчин встали у электронной доски и негромко заговорили, все замолчали. Я видела, как порозовел Мошкин. Что такого говорят те двое? И тоже стала прислушиваться.

– ...бесплатное. Единственно, что необходимо, кроме хорошего аттестата и ЕГЭ – отличное здоровье, первая группа. И сдать ДВИ – дополнительное внутреннее испытание.

– А если я... – попытался вякнуть кто-то сзади, но один из мужчин приветливо ему улыбнулся, и тот мгновенно завял.

– Что проверяется на ДВИ? – неожиданно для самой себя спросила я.

– На внутреннем испытании, – он посмотрел на меня внимательно, как будто подключился ко мне, хотел тут же узнать – кто я, что я, чего стою... – ...проверяется ваша интуиция, сила воли и еще некоторые... гм... базовые характеристики личности. Так что добро пожаловать. И девочки в том числе.

Когда они ушли, несколько секунд в классе была тишина. Все переваривали. Потом заговорили, забубнили, заржали, заорали. Те двое были из Академии ФСБ – загадочной, за-

крытой Академии, где готовят разведчиков... Нет, конечно, сейчас никто особенно не хочет быть разведчиком. Но так романтично помечтать об этом, похвастаться, что ты бы пошел, просто неохота... И что они вдруг к нам приходили? У них не хватает абитуриентов? Какая-то программа по охвату лучших московских школ?

Наша школа, вполне заурядная, в этом году попала в какие-то рейтинги из-за двух мальчиков, которые победили на Всероссийских олимпиадах. Один – по истории культуры, он из семьи потомственных искусствоведов, другой – по ОБЖ, этот с детства ничего не любит, только стрелять – в тире, красками, из рогатки по голубям. Вот он и победил – пробежал с противогазом, вырыл себе укрытие за пять минут, попал в десятку, связал в узлы канаты, сделал другу перевязку, сам себе наложил шину и еще ответил на сто сорок вопросов о выживании в условиях катастроф и чрезвычайных ситуаций. Вот и взяли бы его в Академию сразу... Хотя он в очках. Бегаёт, прыгает хорошо, очки ловко фиксирует, чтобы не спадали, линзы мальчишки не любят, с ними возни много, в драке неудобно – теряются, и не найдёшь потом. Но близорукость – это точно не первая группа по здоровью. А у меня – первая.

Я два дня переваривала всю информацию, волновалась, читала про разных разведчиков... и, в конце концов, решила, что с профессией я определилась. Теперь надо выбрать факультет. Ведь контрразведчик и дешифровальщик, он же

хакер, – совсем разные специальности. Маме я пока не говорила, потому что она расстроится. Кто пожелает своей дочери становиться разведчицей? Я маме скажу попозже, когда отступать уже будет некуда, когда я поступлю.

Но я чувствую в себе потенциал. Я же сразу поняла: если открытка подписана «Орлофф», то дядя остался прежним, перебежчиком, зарабатывающим деньги на том, что ругает страну, где родился и где жили его предки. А если – «дядя Коля», то он поменялся. Вернулся или тоскует и хочет вернуться.

– Я не права, доченька, не права... – Мама собрала все фотографии в пакет и прижала его к себе. – Надо говорить правду детям...

– Никогда не поздно начать, мам!..

– Да, да... – Мама рассеянно кивнула. – А что ты так рано пришла? Замерзла?

– Да. Холодно очень было в зоопарке. И обезьяны смеялись над папой. Он расстроился.

– В смысле? – Мама с ужасом смотрела на меня. – Что ты имеешь в виду? Как это – смеялись? Папа такой смешной?

– А ты не замечала? – пожала я плечами.

– Сашенька... ты... поссорилась с папой?

– А что? Что-то изменится? Он перестанет меня кормить, давать деньги?

Мама сжала губы.

– Я не знаю, как тебя остановить. Ты стала... циничной и

злой. Я тебя не такой воспитывала.

– Откажись от меня, – пожала я плечами. – Выбрось на улицу.

У мамы дрогнули губы.

– Мам... Ну что ты! Все хорошо. Просто... Джонни упал... Ну и там... Глебушка на всех языках разговаривал... Папа агитировал меня против России. А я этого не люблю, ты знаешь, мам. Я – ультра-левая.

– Знаю, – грустно кивнула мама. – А я – за добро, за людей. Я не выбираю... левый, правый...

– Так не получится, мам. Ты себя обманываешь. Ты не выбираешь. А они выбрали. И смотрят на тебя, как на... – Я вовремя остановилась, успела.

– Как на кого, Сашенька?

– Как на инопланетянку, мам.

Не зря же я собираюсь в Академию ФСБ. Ведь можно найти слова, чтобы вроде и сказать и – ничего толком не сказать. Есть такой прием, которым умеют пользоваться хорошие дипломаты – чтобы умно отвечать, даже на самые каверзные и неожиданные вопросы, не нужно поддаваться на тон собеседника. Всегда нужно сохранять свою собственную тональность – как в музыке, не переходить в ту тональность, где тебе петь неудобно – слишком высоко или слишком низко, ноты не берутся. Не нужно отвечать на прямо поставленный вопрос. Это же не иностранный язык!

«Знаете ли вы, сколько в Москве бездомных кошек?»

«Да, знаю. В Москве бездомных кошек около тридцати тысяч...» – так не нужно отвечать. Тебя спрашивают про кошек, а ты отвечай, что очень полезно бегать по утрам. Вот будешь бегать, и сердце стучать будет ровнее, сон будет глубже.

Растерянный оппонент спросит – при чем же здесь кошки?

Отвечай – если у человека глубокий сон и здоровое сердце, то он гораздо больше пользы может принести своей стране, в том числе кошкам. Да и самому веселее и проще жить будет. Если в этот момент оппонент взорвется – туда ему и дорога. Зачем было задавать каверзные вопросы?

С мамой поговорить не удалось. Но я хотя бы узнала о загадочном родственнике, который, оказывается, у нас есть. Я решила, что попробую найти его в сетях.

Мама весь день была грустная и задумчивая. Уронила в суп очки, доставая их, уронила сам суп, стала мыть пол – поранила руку непонятно чем – тряпкой. Стала промывать царапину перекисью, разбила баночку, я хотела ей помочь, но мама только печально покачала головой и отогнала меня. Как и чем может отогнать такой мирный и грустный человек? Взглядом, о который спотыкаешься, как о невидимую преграду. Со мной она вообще не разговаривала, телевизор смотреть не стала, сидела с книжкой «Древние племена» – она всегда достает эту книжку, когда ей грустно, – и думала

о своем. О каком своем — я понять не могла.

Я видела, что она иногда искоса поглядывает на меня, и взгляд мне этот совсем не нравился. На книжке нарисован туземец племени оолунга, с желтым лицом, расписанным по темной коже яркой краской, застывшим взглядом и большой костью, вставленной в торчащие во все стороны волосы. Мне этот туземец напоминает Дылду — по пристальности взгляда и жестокой невозмутимости. Нет сомнения, что он тебя съест или разрежет тебе плечо и положит туда муху, чтобы она откладывала яйца. Когда у тебя все тело будет в шрамах от этих яиц, он, может, женится на тебе — ему нравятся девушки с узорчатыми шрамами на коже. Или все-таки съест.

— Я не для того... — наконец начала мама, когда увидела, что я стала собираться по своим волонтерским делам. — Я не для того столько лет... — Я увидела, как слезы выступили у мамы на глазах.

— Мам, да что такое! Что я тебе сделала, в конце концов? Что — не так? Тебе не нравится, что я убираю берег Москвы-реки?

— Я не об этом.

— А о чем? Мам... Ты из-за папы, что ли? Ну, ушла я из зоопарка. Я ненавижу зоопарки!

— А я ненавижу... — сказала мама и замолчала.

О, вот это уже что-то интересное! Неужели есть что-то, что моя мама, которая любит весь мир, включая своих врагов, может тоже что-то ненавидеть?



– Я не знаю, как с тобой разговаривать, – сказала мама и подняла на меня совершенно несчастные глаза. – Ты жестокая и не любишь людей. А я люблю. И мне всех жалко.

– В том числе тех, кто тебя унижает?

Мама кивнула.

– Да. В том числе тех. Только я не знаю, кто меня унижает.

– Твои авторы, твои ученики, папа... – Я осеклась. Зря я это сказала, но было уже поздно.

– У него есть такое право... – прошептала мама. – Я сама виновата...

– В смысле? В чем ты виновата?

Мама отчаянно замотала головой, низко-низко ее опустила, чтобы я не видела ее глаз, прижала к себе очки и опять заплакала.

Ну уж нет, решила я в тот момент. Я узнаю, что у них произошло. Потому что поверить, что моя маленькая, добрая, всем всё прощающая мама сделала что-то плохое, а папа ее теперь за это может презирать, я не могу.

Больше приставать к маме с расспросами я не стала. Во-первых, я опаздывала, точнее, это было во-вторых. А главное то, что мне было очень жалко маму. Она сидела маленькая, как мокрый воробышек, в своих огромных очках, с тонкой шеей, как будто мама ничего не ест – на самом деле, надо присмотреться повнимательнее к этому. Я ем с жадностью, всегда хочу есть, и мама мне то и дело подкладывает еду, подкладывает – может, она свою еду мне отдает и все худеет

и худеет?

– Мам... – Я обняла маму, получилось это неловко, мама даже пошатнулась на стуле. Не такая я гренадерша – это мама что-то слишком ослабла за последнее время.

Я решила – возьму накопленные деньги и куплю после волонтерского рейда маме баночку красной икры. Как раз у меня около пятисот рублей скопилось. А у нас открылся рядом магазин «Икра». Там ничего больше нет – одна икра. Мы заходили как-то туда с мамой перед праздником. У прилавка стояла старушка, древнее которой я, наверно, не видела никогда. Самое маленькое ей было девяносто лет.

Старушка рассказывала, как мне показалось, уже не первый раз – стояла, опираясь морщинистой рукой на стеклянную витрину, и говорила, особенно ни к кому не обращаясь: «...и всё просто завалено было черной икрой! Большие судки стояли – и такая тебе икра, и сякая... И попробовать можно было... И везде бутерброды с черной икрой продавались – в кинотеатрах, на танцплощадках... А сейчас... Не пойму – сколько это стоит? Вот эта баночка? Тысячу? Столько нулей-то?» – «Десять тысяч!» – устало вздохнула продавщица в ответ. «На новые деньги?» Продавщица вздохнула: «На новые, женщина, на новые. Старые, если есть, тоже несите, у меня сын собирает». – «А вы минтай берите, – подсказала ей другая. – Или вот, киржач, если подороже. Он в неволе не размножается, единственный гордый. У него икра мелкая, но вкусная...» Не знаю, что купила тогда эта древняя старушка,

мы не купили ничего, глаза разбежались.

Но я читала, что больным и слабым нужна икра. Мама не больна, но как-то плохо выглядит последнее время.

Мама обняла меня в ответ, прижалась ко мне.

– Дочка... – прошептала мама. – Что-то я, наверно, делаю не так... Почему ты такая жестокая?

– Нашла о чем убиваться, мам! – отмахнулась я и поцеловала маму. – Я – нормальная. Иначе не выживешь, сожрут.

– Нет... нет...

– Больше не плачь, ладно? Я пошла, а то стемнеет, и мусора не будет видно.

Заиграл телефон и объявил голосом телефонной помощницы: «Нелли Егоровна... коровья морда... пистолет...» – Это так звуковая программа под именем Сири невозмутимо перечисляет значки, которые я поставила около имени в записной книжке телефона. У Сири много удивительных функций, в том числе – общение с владельцем телефона.

– Да! – нажала я на громкую связь, быстро накидывая куртку.

– Са-а-ша-а! Приходи-и!.. – Нелли Егоровна кричала так, что из моей комнаты на ее голос вышел Робеспьер и страшно посмотрел на меня, как будто это кричала я, а не соседка. Нелли Егоровна всхлипнула, потом несколько раз то ли кашлянула, то ли прорыдала и отключилась.

Робеспьер прошел мимо меня, принялся к моим сапожкам, в которых я утром гуляла с ненавистными йорками, по-

вел ушами, не оборачиваясь, встал ко мне спиной, слегка покачивая хвостом, выражая свое крайнее недовольство.

– А что ты хотел? – спросила я. – Ты денег не зарабатываешь, выпендриваешься только. Мы тебя на выставку повезли, ты принес нам первый приз? Нет. А там пять тысяч рублей давали самому красивому коту. Покрасивее тебя нашлись. Так что не выступай. Иди, поешь сыра.

– Сашенька, – мама, сморкаясь, вышла из кухни. – Купи Робеспьеру три пакетика еды.

– Да ни за что! – пожала я плечами. – С чего бы это он стал есть искусственную пищу, правда, дружок? Вон кошки на улице – что нашли, то и съели. И самые здоровые. Да, ваше величество? Как насчет каши и капусты?

Робеспьер, наконец, сообразоволил обернуться и посмотрел на меня своими загадочными темно-зелеными глазами.

Я на самом деле очень люблю своего кота. И маму люблю. И людей люблю. Но я не буду вести себя, как моя мама. Любовь моя выражается по-другому.

Раздалась бурная музыка в телефоне и голос Сири: «Нелли Егоровна... коровья морда... пистолет...»

– Саша!.. Ты уже вышла ко мне? – Нелли Егоровна действительно рыдала, мне не показалось. – У меня... Я... Веня... Саша-а-а-а-а...

Вообще-то Нелли Егоровна не одинокая женщина, у нее есть муж. И сегодня у него выходной. Но, наверно, он убегает из дома из-за ее собачек, выносить это все крайне трудно.

– Что у вас случилось? – спросила я, хотя могла бы после ее утренних выкрутасов нажать отбой и не разговаривать с ней.

– Саша-а-а-а-а... Веня-а-а-а-а... – навзрыд рыдала Нелли Егоровна, ничего не объясняя, из чего я заключила, что ничего страшного не случилось и что говорить она толком не хочет, иначе я не приду.

– Как же ты с людьми разговариваешь! – прошептала мама в отчаянии. – Где я упустила, что... Как же так...

Я поцеловала маму в мокрую щеку – ну надо было так наплакаться! Подмигнула Робеспьеру, который с независимым видом сидел на самом краешке обувной тумбы, и побежала.

Выйдя из лифта на тринадцатом этаже, я еще из коридора слышала крик Нелли Егоровны, причитания и плач. Нет, значит, все-таки что-то произошло. Открыла она мне не сразу. Я ахнула. Нелли Егоровна была вся окровавлена. Присмотревшись, я чуть успокоилась – у нее была покусана одна рука, а все остальное просто запачкано кровью. Нелли Егоровна нарядилась в белую кружевную кофточку, и кровь на ней смотрелась ярко и ужасающе. Понятно теперь, почему она повторяла: «Веня, Веня». У меня рука обкусана именно Веней и точно в таком же месте – от ладони до локтя, так ему удобней, он приспособился кусаться и кусает всех одинаково – вцепится зубами и рвет тело, отступая назад и рыча. Рычание у него получается не очень, а кусание – более-менее, рука у меня долго не заживала после его бешеных зубок.

Я скинула ботинки и огляделась. Вдалеке в огромной гостиной я увидела трясущуюся Алисоньку – та пряталась на диване, зарывшись в подушки, и тряслась всем тельцем. Вения лаял где-то в зимнем саду. Лаял, по всей видимости, давно, потому что осип полностью.

Я прошла через кухню и увидела Веню у кадки с лимоном. Завидев меня, йорк стал отступать назад и рычать, попытался полаять громче – не получилось, тогда он заскулил. На Вене была надета какая-то новая голубая курточка, с кокардой, золотыми пуговицами, похожая на клубный пиджачок Джонни. На морде его были... очки. Черные, большие, с гравировкой на дужках. Они съехали на бок, но держались. Я присмотрелась и поняла как. Нелли Егоровна – а кто же еще? – прикрепила их круглыми зажимами для волос, с помощью которых она обычно делает прически Алисоньке и иногда – себе, когда одевается в стиле «меня забыли в детском саду». На лапах у Вени были не обычные его уличные сапожки, а... ботинки. С длинными носами, кожаные, лакированные, в дырочку. Английские черные ботинки, очень стильные, как у пэра, или лорда, или просто модника. Лапы внизу были побриты наголо – чтобы они походили на голые ноги молодых ребят-модников, которые ходят этой осенью без носков или в коротеньких носочках, чтобы были видны их беззащитные щиколотки.

Я вздохнула и обернулась на Нелли Егоровну.

– Вот... – Плача, она протягивала мне покусанную руку. –

Вот... Вот к чему приводит любовь!..

– Он вас от любви покусал? – удивилась я.

– Нет! Саша! Какая же ты!.. Я так и думала – придешь, будешь издеваться над собаками, как обычно! И надо мной! Какая же ты!.. Я к тебе со всей душой, вхожу в положение, деньги еще тебе плачу...

Я посмотрела на Нелли Егоровну. Представляю, как она водит машину, с такими нервами и такими мозгами.

– Я люблю Веню! А он меня покусал! Как же так можно!.. Как же можно платить за любовь таким отношением!..

Мне казалось, что Нелли Егоровне плакать уже не хотелось, но она изо всех сил давила слезы, потому что спокойно говорить о подобных вещах как-то неудобно, очень глупо получается.

– Вы промыли рану? А то у меня его укусы потом гноились целую неделю, – как можно нейтральнее сказала я, чтобы не давать ей повода набрасываться на меня. Хотя, похоже, она именно за этим меня и позвала. Не Веню же ей было ругать за то, что он ее покусал.

Веня залез под «уличную скамейку», около которой Нелли Егоровна уже зажгла к вечеру фонарь, и оттуда рычал, скулил, подвываял, но не вылезал.

– Видишь, как он переживает? – спросила Нелли Егоровна. – Хотя – что ты можешь видеть! У тебя же души нет! Камень вместо души! Кошелек!

Я засмеялась. Бред полнейший.

– Зачем ему очки? – спросила я. – Он стал плохо видеть?

– Вот... – Нелли Егоровна протянула мне телефон, в котором был сфотографирован Веня.

Я поняла, что она пыталась держать его одной рукой, так, чтобы руки не было видно, а другой – фотографировала. Веня по ее замыслу сидел за письменным столом, как ученик или как профессор – это было непонятно, в пиджаке, очках, ботинках, без штанов, правда, но это уже детали.

– Вот какой у меня мужчинка... – опять заныла Нелли Егоровна, как будто плача, но глаза у нее были совсем сухие.

Я подумала – удобно ли будет спросить ее про мужа, куда он подевался и зачем ей другой «мужчинка», как она выражается, но заметила на ручке двери широкий полосатый галстук, а на полу – брошенный огромный свитер и один носок. Даже если галстук и Венин – мало ли, то в носок Веню можно целиком запихнуть, потом завернуть раз восемь в свитер и отнести на помойку. Я вздохнула от собственных мыслей. Что, я на самом деле злая? Раз мне так все говорят. Ну злая, так злая.

– Любовь – очень жестокая вещь, Нелли Егоровна, – сказала я ей. – Значит, он вас не любит. Напишите стихи о неразделенной любви. Другого выхода у вас нет.

– Ты так думаешь? – Голос у Нелли Егоровны задрожал по-настоящему. – Он – меня – не любит?.. Господи... Ведь я догадывалась об этом... Он так смотрел на меня вчера вечером... Я еще думала – что этот взгляд означает...



– Он – Веня... – на всякий случай уточнила я, а то вдруг она плавно перешла к рассказу о своем крупном муже.

– Веня-а-а... – затряслась Нелли Егоровна. – Сидит, смотрит, как будто сказать хочет... И ведь я слышу его слова, все его признания! Он просто гордый, не подойдет, прямо так не скажет...

– Веня? – еще раз переспросила я, чувствуя, что в голове у меня что-то покачивается. Может, я схожу с ума, а она нормальная? Как Веня может ей что-то сказать? А вдруг – может?

– А сегодня... – продолжила Нелли Егоровна, вдохновленная моей реакцией. – А сегодня взял и покусал меня. Меня!.. Покусал!..

– Может, от любви? – вздохнула я.

– Ты думаешь? – Нелли Егоровна даже замерла. – От любви... Господи... А я-то... – Она стала нервно смеяться. – А я-то!..

– Нелли Егоровна... ой... – Сейчас я поняла, что такое неладное с моей... как ее назвать? Знакомой. Или соседкой. Или – кто она мне? Работодательница?

Нелли Егоровна увидела, что я смотрю на ее брови. Одна была накрашена толщиной в мой указательный палец, вторая тоже, но почему-то только до половины.

– Что? – Она хохотнула. – Красиво? Можешь звать меня сегодня Леонид Ильич!

Тут уже замерла я. Она что, правда с ума сошла? Кто такой

Леонид Ильич? Она думает, что она – мужчина? А почему же она тогда добивается любви собаки по имени Вениамин? И рыдает оттого, что он ее не любит? Или у нее однополая любовь... Фу ты, какой маразм...

– Не знаешь? Ты не знаешь, кто такой Брежнев? – Нелли Егоровна в голос захохотала, Веня по-пластунски вылез из-под скамейки, отряхнулся и с совершенно наглющим видом уселся напротив нас, не приближаясь, на хорошем расстоянии. – Что с вас взять! Потерянное поколение!

– Потерянному уже двадцать пять лет, – уточнила я. – А мы – дети новой России. Мы уже себя нашли.

– Где? На помойке? Мне рассказывали, что ты по помойкам ходишь! Ужас. С моими собаками гуляет человек, который потом по помойкам ходит! А если ты им блох принесешь? Клещей? Туберкулез в открытой форме? Туда все плюют, а ты копаешься руками, нюхаешь! Зачем тебе это? Расскажи мне, мы же с тобой подружки.

Я хотела спросить, почему у нее одна бровь накрашена только наполовину и куда подевались ее настоящие брови – из волос, как у всех людей, зачем она их сбрила – или они просто выпали у нее? От неразделенной любви... Но спрашивать не стала, потому что Нелли Егоровна сама увидела себя в зеркале, ахнула: «Ах!», еще раз: «Ах!» – и побежала в ванную, тут же принеслась оттуда, хватая себя то за лицо, то за волосы, то за бока и охая.

– Вот почему.... А-а-а... Вот почему он меня разлюбил...

Я же бровь одну стерла... как же я ее теперь накрашу... Это же несмываемая краска...

– Давайте я вам нарисую, – вздохнула я. Что будешь делать с таким нелепым взрослым? Была бы она ребенком, разговор бы у меня был другой. – У меня рука твердая.

– Рисуешь? – нервно спросила меня Нелли Егоровна.

– Стреляю из пневматического пистолета.

Она хохотнула, тут же перестала смеяться.

– Хорошо! Рисуй, только скорей! А чем? Чем ты рисуешь?! – Нелли Егоровна вдруг стала выдвигаться на меня, отмахиваясь, как от насекомых. – Чем? Чем? Маркером? Чем? Чем? Чем?

Что-то ее заиклило на слове «чем», я дальше слушать не стала, цокнула языком Веня, он, зная этот условный сигнал, тут же притопал и сел рядом.

– Что? Сидишь, террорист? А если я тебе хвост наполовину в следующий раз отрублю? Забудешь, как кусаться?

Веня виновато клацал зубами, высовывая язык. Он знает, что Нелли Егоровна тает от этого жеста.

– Убери язык, – попросила я его. – Меня сейчас стошнит.

– А! А! А! – закричала Нелли Егоровна, слыша наш с Веней разговор, точнее (чтобы не сходить с ума, как она) – слушала мой монолог и его собачьи нормальные реакции: испугался, подлизался, повинулся. Это для собаки нормально и даже доказывает, что я не права и что у него в голове есть хоть какие мозги.

– Я пошла, – сказала я. – У меня дела.

– Иди! – всплеснула Нелли Егоровна. – Если тебе важнее бегать по помойкам, чем помогать людям, – иди! Человек попал в беду, а ты идешь развлекаться! Если что найдешь интересное на помойке – расскажешь потом!

Как трудно, наверное, жить с таким характером.

– Я вечером с ними не пойду! – предупредила меня Нелли Егоровна, когда я уже переступила порог. – Так что собаки тебя ждут.

– А муж не может с ними выйти? – все-таки обернулась я.

Мне жалко не Нелли Егоровну, а собак, хотя они глупые и мерзкие. Но она будет их полчаса наряжать, рыдать, биться головой, чтобы надеть им пальтишки и сапожки, у Вени еще эти несчастные, долыса выбритые ножки... Алисоньку к прогулке она будет накручивать – чтобы сделать фотографию... Как наряженная, расфуфыренная Алисонька подняла мордочку и хочет ей что-то сказать. Например: «Ма, какая ты у меня сексапильная... Вот почему тебя Веня любит...» Интересно, в каких родственных отношениях находится Алисочка к Вене? Она его падчерица?

Перепрыгивая через три ступеньки, я скатилась с лестницы из подъезда и наткнулась на Маргариту Леонидовну, женщину, которая живет этажом выше Нелли Егоровны. Изумительно красиво одетая Маргарита Леонидовна махнула полкой тончайшей длинной шубки, мех которой пострижен, и поэтому непонятно, какого зверька разодрали на ее шубу,

обдала меня нежным ароматом ванильно-горьких духов и, скривив тонкие губы, обругала меня матом. Толкнуть в ответ? Ответить тем же? Сделать вид, что я плоховато слышу? Я выбрала глухоту. Подмигнула Маргарите Леонидовне, показала язык и помчалась в сторону остановки.

Размышлять, что так взбесило сегодня соседку, я не стала. Я с ней плохо знакома, никогда не сталкивалась лично, но как-то ее выбешивает от моего вида. Я знаю, как ее зовут, потому что Нелли Егоровна на нее часто жалуется – та не спит до трех часов ночи, ходит по квартире, топает, роняет что-то, включает на полную громкость телевизор. У Нелли Егоровны в подъезде много женщин, которые совсем не работают. И не все они замужем. У некоторых уже подросли дети и помогают им жить в свое удовольствие, не работая. У других где-то сдается вторая квартира, как у Маргариты Леонидовны, и они на это живут, горя не знают, меняют шубы из убитых зверьков и матерят соседей.

Когда я пришла на берег реки, там уже сновали волонтеры. У нас очень странная компания. Есть несколько старших школьников и студентов – это люди, в чем-то похожие на меня. А есть взрослые, они – другие. Я не думаю, что, когда мы вырастем, мы станем такими же.

Ко мне подбежал Мошкин. Он стал ходить на всякие волонтерские мероприятия не потому, что он хочет, чтобы жизнь на Земле стала немного лучше, а потому что гоняется

за мной.

– Алекса, Алекса... – Подбежать-то подбежал, а что сказать – не придумал. – Гы... – издал неопределенный звук Мошкин. Попрыгал на месте, тряся руками, как будто освобождая уставшие от тренировок мышцы, снова сказал: – Гы... – Страшно разозлился на самого себя, что мозги никак не сворачиваются на самую остроумную колкость – а ему кажется почему-то, что меня надо завоевывать именно так, постоянно задирая и говоря глупости. – Гы... – Опять то ли проблеял, то ли засмеялся от неловкости Мошкин.

– Леша, пакет бери, – вздохнула я. Очень трудно с дебилами, особенно если они в тебя влюблены. – И пошли собирать бутылки.

– Гы! – обрадовался Мошкин. – Это... Прикид у тебя... тупой...

Я кивнула. Ну хоть смог выговорить что-то, и то ладно. Тупой прикид – это комплимент, на мошкинском языке.

– Мешок открой, поставь и ходи собирай – сначала пластик, а потом соберем стекло, в отдельный мешок. Если металлическое что-то будет, клади в сторону.

– Ага! – обрадовался Мошкин.

Мама не случайно спрашивает, нравится ли мне он. Если посмотреть на него со стороны, то кажется, что Мошкин – идеальный мальчик для того, чтобы в него влюбиться. Стройный, светловолосый, Леша не очень хорошо видит, но очков у него нет, и когда он молчит и серьезно, внима-

тельно вглядывается в даль, то становится похожим на универсального положительного героя из американского фильма. Обычно это человек со славянской кровью – поляк какой-нибудь, чех или наш, сын эмигрантов. Лицо приятное, милое даже, глаза выразительные (только что они выражают у Мошкина – вот вопрос!), уши не слишком торчат, лоб ясный, высокий... Но! Стоит Мошкину открыть рот – беда. Потому что в голове у него мусор, вроде того, что мы сейчас собираем – неотсортированный.

– Алекса, Алекса... – Мошкин швырнул в черный пакет пару пластиковых бутылок из-под пива и снова нарисовался около меня. – А я думал... это... что ты не придешь... Блин.

– Штраф за «блин», – машинально сказала я, как обычно говорю своим полубратьям.

– А какой? – Мошкин застыл с какой-то грязной палкой в руках. Не знаю, что мешали или ковыряли этой палкой. Хорошо, что Нелли Егоровна не видит меня рядом с такой палкой, извелась бы вся.

– М-м-м... – Я подумала. У полубратьев штраф – десять рублей, но у них полно карманных денег. А вот что потребовать у Мошкина... – Нет, наоборот давай. Целый день без «блинов» – тебе приз.

– Какой? – Мошкин очень глупо улыбнулся.

Именно поэтому я и сказала, сама от себя не ожидала:

– Поцелуй. В щеку, разумеется.

Мошкин интуитивно схватился за свою щеку. Ему повез-

ло, у него почему-то нет прыщей, может быть, пока не созрели, или вообще не будет. Так бывает, но крайне редко.

– Не-ет... Давай... – Он хотел что-то сказать, видимо, настолько глупое, что стал дико смеяться еще до того, как сформулировал мысль.

– Без торга, – отрезала я. – Тем более ты все равно не выдержишь без «блинов», у тебя, Мошкин, очень засоренная речь.

К нам подошел один из взрослых, совершенно непонятный человек, Михаил Тимофеевич. Вот как странно. Вроде человек делает доброе дело, отдает свое свободное время, изо всех сил старается ради других людей – ни за что, даже не за доброе слово. А вот неприятный он и всё тут. То ли из-за неопрятности, то ли из-за бегающего взгляда, который никак не фокусируется в одной точке, то ли еще из-за чего-то, трудно определяемого словами. Мы же сложные существа. Что-то видим, что-то слышим, а что-то ощущаем, и слов этому часто нет – тому глубокому, что ощущается.

– Как дела? – спросил Михаил Тимофеевич и улыбнулся.

Лучше бы он не улыбался. Когда у человека нет зубов – я понимаю, что он не виноват! – но когда у него нет многих зубов, а те, что есть, давно съедены, улыбка не получается. Точнее, получается, но особенная.

Если бы я не хотела стать фээсбэшницей, я бы пошла на философский факультет и философствовала бы с утра до вечера – почему у человека такие странные сны, непохожие на



реальность, почему мы такие неоднозначные, противоречивые, почему люди все пугающе одинаковые в своей сути и одновременно такие разные... Но я хочу действовать, а не болтать. Поэтому мой выбор сделан в пользу разведки. Я буду работать дома, в России. Я понимаю, что офицер не выбирает. Недавно я прочитала, что слово «офицер» вернули в армию только в сорок втором году, а после революции всех, кто командовал, так и называли – командир. Младший командир, старший командир...

Так вот, командир не выбирает, как и солдат, где ему служить. Но я знаю, что я сделаю. Я языки учить не буду – чтобы меня не послали разведчицей в другую страну. Или так – учить буду – ведь надо знать язык врагов! – а на экзаменах специально буду сыпаться, чтобы получить четверку или тройку. И чтобы мне однажды не сказали: «Старший лейтенант Веленина, теперь вас зовут Джейн Кук, вы родились в штате Массачусетс, ваши родители умерли, вот вам новый паспорт, новый облик и новая биография. Служите Родине далеко за ее пределами. Езжайте и живите там, ждите задания».

Мошкин вместо ответа на вопрос Михаила Тимофеевича пренебрежительно хмыкнул. Не нравятся ему другие волонтеры, ему нравлюсь я. Даже ровесники не нравятся, из них он тут же ревнивым взглядом выбрал двух пацанов, к которым стоит ревновать, как он считает. А уж здешние взрослые – вообще не его компания. Увидят знакомые – засмеют.

– Как дела, ребятки? – опять спросил Михаил Тимофеевич, причем спрашивал он конкретно у Мошкина.

Тот недовольно повел плечами. Ну, уж конечно, на «ребяток» он точно не отзовется!

– Нормально, спасибо, – ответила я. – Собираем мусор. Сначала пластик, потом стекло. Кладем в пакет.

Золотое правило, которому меня, возможно, научила мама когда-то давно. Или я придумала его сама. Ведь никогда толком не помнишь, чему тебя учили, а что ты понял сам. Правило такое: когда взрослые не знают, что спросить, и задают сложные комплексные вопросы, например: «Ну, как ты? Как вообще жизнь? Что новенького?», надо начать описывать то, что ты делаешь в настоящий момент или делал сегодня:

«Я сейчас дописываю упражнение по русскому, потом вытру пыль с полки и пойду за хлебом». Или:

«Сегодня я ходила в школу на шесть уроков, потом у меня была тренировка в парке по спортивному ориентированию до семнадцати сорока пяти. Потом стемнело, и я пошла домой, ехала на троллейбусе. Сейчас сижу дома, читаю Лермонтова».

«А-а-а-а... – удовлетворенно скажет папа (этот тот взрослый, который чаще всех спрашивает у меня, что же у меня «новенького»), – молодец...»

Не надо рассказывать, что в школе сегодня был пик несправедливости, что классная дошла до края в своих из-

девательствах над людьми – ходила и нюхала, кто так сильно «воняет» после физкультуры, привязалась к девочке, которая и не ходила на физкультуру, просто Дылда ее не любит, что потом она заставила писать контрольную по тому материалу, который еще не объясняла, и твердо пообещала, что пересдать не получится...

Не надо папе рассказывать, что семиклассники подожгли туалет, и из-за этого на четвертом этаже нечем было дышать, а все твои уроки были как раз рядом с этим несчастным туалетом...

Тем более не надо доверительно ему открывать душу, что ты не уверена, кем ты хочешь стать – разведчиком, дешифровальщиком или философом. Или что ты никак не можешь найти лучшую подругу. Не клеится с дружбой.

Ничего этого папа слушать не станет. Может быть, стала бы бабушка, но ее нет. Про школу папа скажет:

– А приятного ничего не произошло в школе? А то у тебя как будто канал криминальных новостей. Убили, сожгли, обокрали... Хотя бы один позитив был! Как все-таки мать тебя обрабатывает! Видишь жизнь в темном свете!

Про профессию скривится:

– Говорю же, иди в налоговый институт. Пойдешь ко мне работать. Мне нужен свой человек. Всегда будет хлеб с шоколадной пастой. И копченая колбаска с жирком.

И бесполезно объяснять, что такие химические соединения, как «шоколадная паста» и тем более «колбаска с жир-

ком», я в пищу не употребляю.

– А куда вы потом пойдете, ребятки? – спросил Михаил Тимофеевич, опять у одного Мошкина.

Мошкин подозрительно посмотрел на него.

– Чо он хочет? – спросил Мошкин у меня.

– Леша, собирай бутылки, – спокойно ответила я, поворачиваясь спиной к Михаилу Тимофеевичу.

– Алекса, Алекса, – зашептал Мошкин, ненароком приваливаясь ко мне, – кажется, это... он псих.

– Мне так тоже кажется, Леша, только это не повод, чтобы ты на меня падал. Ты мне куртку измазал этой дрянью, выбрось ее наконец.

Мошкин глупо засмеялся, как будто я сказала что-то смешное и приятное, и зашвырнул палку далеко в лес.

Михаил Тимофеевич исподлобья смотрел, как мы пересмеиваемся и все удаляемся от него. Правда, неприятный тип. Интересно, а он зачем ходит собирать мусор? Неужели ему безразлично то же, что и мне? Природа, чистота планеты, экология нашего родного района... Что-то я сомневаюсь. Уж очень у него взгляд странный. Это удивительное окошко внутрь человека, в его суть, в его душу. Какие необычные, пугающие, отталкивающие картинки иногда возникают в этом окошке...

– Интересно, кто он, этот Михаил Тимофеевич? – вслух продолжила я свои размышления.

– Он сказал, что он... это... продюсер.

– Кто?! – от неожиданности засмеялась я.

– Продюсер... Он мне предлагал... это... ролик записать... Это... там... музончик...

– Леш... – Я посмотрела на своего друга, который совершенно серьезно это рассказывал сейчас. – А ты умеешь петь?

– Не. А зачем там петь? Там... это... стоять надо... под музыку... и еще ходить...

– И что, ты согласился?

– Не...

– Почему?

– Там... – Мошкин опять засмеялся, покраснел. – Это... Алекса... не, да ну... это...

– Понятно. В голом виде стоять, что ли? И ходить...

– Ну да... – Мошкин трясся от смеха, а я обернулась, чтобы убедиться, что Михаил Тимофеевич отстал от нас окончательно.

– Жалко, что не согласился. Дылде можно было бы на Новый год подарить... Счастья бы было...

– Не, не хочу... А это... Алекса... – Мошкин набрал полные руки мусора и все это время стоял с ним, разглагольствовал. – Куда ты потом?

– Клади в пакет, не держи. Неужели тебе не противно? Потом я пойду к одной старушке и помогу ей по хозяйству.

– Зачем? Ой, это... – Мошкин сам осекся. – А... это... Я с тобой!

– Это не очень интересно, Леша.

– Интересно! – с энтузиазмом воскликнул Мошкин. – Интересно!

– Ну, хорошо, пойдём.

Вот вопрос. Если человек делает добро, но не потому что он хочет его делать, а потому что он просто рвется быть рядом с другим человеком, – это добро? Про добро и зло не принято сейчас рассуждать. Обычно об этом говорят или крайне занудливые, или самые нетипичные люди. У нас в подъезде живет одна женщина, Татьяна Юрьевна, которая привязывается ко всем с такими разговорами. Недавно привязалась к нам с мамой, когда мы вместе спускались в лифте. Конечно, моя мама взялась ее слушать.

Татьяна Юрьевна услышала, как я пересказываю маме одну интересную статью, которую я прочитала в познавательной группе в Интернете. Там как раз шла речь о том, что Бог рассердился на людей за то, что они хотели понять разницу между добром и злом. Ведь это так удивительно. Почему же он не хотел, чтобы мы понимали, что хорошо, что плохо?

– Бог – бесстрастен, – стала объяснять нам Татьяна Юрьевна, хотя ее никто не спрашивал. – Он не может гневаться. Бог дарит всех любовью.

– Любовь не может быть бесстрастна, – тут же встряла я.

– Божья любовь бесстрастна, – вспыхнула соседка. – А все страсти – от диавола и человека.

– Откуда вы это знаете? – спросила я.

Как же я ненавижу таких самоуверенных тетенок неопределенного возраста, которые берутся объяснять необъяснимое в принципе, агитировать, растолковывать, вербовать. Как правило, это делают сектанты, но Татьяна Юрьевна ходит в обычную православную церковь, рано утром, в светлом платочке. Я часто, когда бегаю перед школой, вижу ее, энергично семенящую по бульвару в сторону нашей районной церкви.

– Писание читаю, – поджала губы Татьяна Юрьевна.

– А гнев божий? Как быть с ним?

Мама умоляюще посмотрела на меня. Я опять подвела ее. Это же оскорбление чувств верующих – не меньше. Моя мама пилить и ругать не будет. Она придет домой и весь вечер будет отчаиваться и грустить, что вырастила «не ту» дочь. «Та» живет в каком-то придуманном мамой мире. Она отчетливо видит ту дочь, хорошо знает ее и убивается, что я совсем не похожа на нее.

Татьяна Юрьевна не нашлась, что сказать, и поэтому процитировала Евангелие:

– «Гнева нет во мне» – сказано в книге пророка Исайи! – прошелестела она. Громко так прошелестела, отчетливо.

– А! – обрадовалась я, ведь именно на это ссылались в посте, который так заинтересовал меня. – А дальше? Вы знаете, что там дальше?

Мама дернула меня за рукав, но я сделала вид, что не понимаю ее намеков. Татьяна Юрьевна злобно сверкнула очка-

ми.

– Не фарисействуй в храме! Там так написано!

– Да уж конечно! – засмеялась я. – Дальше говорится: «Если кто противопоставит мне в нем волчцы и терны, Я войной пойду против него, выжгу его совсем». Ясно сказал: «Выжгу!» Я специально выучила!

– Зачем, Сашенька? – искренне ужаснулась моя мама.

– Мне интересно, мам. И чтобы парировать, и чтобы знать, и чтобы сочинение писать... о добре и зле.

– Я сомневаюсь, Сашенька, что у вас будут такие темы сочинений... все-таки у нас светское государство...

Татьяна Юрьевна обрадовалась новому повороту темы и завелась насчет того, что нужно, чтобы церковь, как до Великой Октябрьской революции, стала частью государственного аппарата, влияла на вся и на всех, а я потянула маму за рукав, шепча:

– Тебя втягивают в антигосударственный заговор, пошли...

Мама засмеялась и, пожелав Татьяне Юрьевне всего самого доброго, взяла меня за руку и пошла со мной. В тот момент, наверно, я немного совместилась в ее голове с образом ее дочери, о которой она мечтает и тоскует, пока я тут бегаю, топаю, громко чавкаю, говорю резкие и неправильные, с ее точки зрения, вещи, все критикую, философствую, гуляю с чужими собаками, чтобы почувствовать себя финансово независимой от папы, занимаюсь не понятным никому



волонтерством. И вообще... Пока я рядом с ней такая «не та»...

Я подумала – не рассказать ли мне Мошкину обо всем об этом. Вдруг он поймет... Ведь он так рвется стать моим другом... Я открыла рот, а Мошкин вдруг сказал:

– Димон... это... он...

– Мяка? Друг твой? Забываю даже, как на самом деле его зовут...

– Да... это... Мяка... Настюхе предложил встречаться... А она отказалась...

– Почему? – вздохнула я.

Начинается... Хуже мальчишеских сплетен – только разговоры о чужих собаках, которых ты никогда не видела, и тебе надо слушать, как смешно она подпрыгнула, смешно залаяла, смешно вылизала чью-то пятку, высунувшуюся утром из-под одеяла, смешно съела все котлеты, забравшись на стул, смешно рычала на курьера, смешно выла в купе, которое пришлось выкупить целиком из-за нее, смешно съела старую дореволюционную книжку... Но когда заводятся мальчишки и начинают рассказывать друг о друге всякие небылицы или свои жалкие секретики, которые им доверил их лучший товарищ...

Мошкин независимо хмыкнул и по-молодецки расправил плечи, почему-то похлопав себя по довольно куцым бицепсам. Выглядел он при этом еще глупее, чем когда он гыкает, краснеет и смеется без повода.

– Ну это... как... – Мошкин показал что-то руками.

Я не поняла.

– Что?

– Ну это... Не хочет... Настюха... не хочет...

По тому, как он неудержимо стал смеяться от своих собственных слов, я догадалась, что Мошкин вкладывает что-то не совсем приличное в слова. И ржет сам от неловкости.

Он смеялся, смеялся. Потом вдруг перестал. Остановился посреди тропинки, по которой мы шли уже к троллейбусу из парка, повернулся ко мне, перегородив мне путь, и спросил:

– А ты?

– Что – я?

– Ты... это... будешь... это... со мной...

Я обошла его и направилась дальше по тропинке. Мошкин снова перегородил мне путь, попробовал даже взять меня за плечи.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.